



## **Сергеев Артём Фёдорович**

### **ЭТО ВЫХОДИТ ОПЯТЬ ВАС? ЭТО ВЫХОДИТ КАК ЗАВОРОЖЕННЫЙ!**

Я родился 5 марта 1921 г. в городе Москве. Русский. Вероисповедание православное. Член ВКП(б), КПСС, КПРФ с 1940 г.

Отец, Сергеев Федор Андреевич (подпольная кличка Артем, которая после революции стала его фамилией) из крестьян Курской губернии. Член большевистской партии с 1902 года, делегат с 4-го по 10 съезд партии. С 6-го по 10 съезд – член Центрального комитета партии. Был председателем Донецкого губернского исполнительного комитета, Председателем Совета Народных Комиссаров Донецко-Криворожской республики, заместителем Председателя Украинского правительства, секретарем Московского комитета партии, председателем Центрального комитета Союза горнорабочих. Погиб 24 июля 1921 года в катастрофе железнодорожного аэровагона на 105 версте дороги Москва — Курск. Похоронен в Москве на Красной площади.

Мать, Сергеева Елизавета Львовна, родилась в городе Либава (ныне Лиепая) в семье ткача-кустаря. С 10 лет работала. Член партии большевиков с 1915 года. Участница харьковского подполья и Гражданской войны. Работала директором санатория, заместителем директора авиационного завода, директором ткац-

ко-отделочной фабрики, во время войны — начальник медицинской части госпиталей на база ВЦСПС. Умерла в 1983 году.

После потери отца я с годовалого возраста жил в семье Сталина до ухода в армию в семнадцатилетнем возрасте.

В 1938 г. окончил 10 классов 2-й Московской специальной Артиллерийской школы. Был солдатом, младшим командиром (сержантом), старшиной, курсантом.

В 1940 г. окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище и стал офицером.

В 1942 г. окончил 3-х месячные высшие офицерские артиллерийские курсы.

В 1951 г. окончил Военную артиллерийскую академию имени Дзержинского.

В 1954 г. окончил Высшую военную академию имени Ворошилова (Академия генерального штаба).

Ушел в отставку с военной службы в 1981 году в звании генерал-майора артиллерии.

\* \* \*

О начале войны узнал в 6 часов утра 22 июня 1941 г., находясь на опытных артиллерийских стрельбах на Софринском полигоне Московского военного округа, будучи в звании лейтенанта командиром взвода 152-мм гаубиц «М-10» образца 1938 г. (тема: стрельба тяжелого орудия с мокрого, топкого болота).

Начал участвовать в боевых действиях как кадровый командир Красной Армии во главе своего подразделения, в составе своего полка. Полк дислоцировался в лагере Алабино Московской обл. (город Москва, ул. Песчаная).

Погрузились на фронт 24—25 июня 1941 г. на станции Москва-Киевская-товарная.

Участвовать в боевых действиях начал 26 июня 1941 г. в звании лейтенанта (командир батареи — лейтенант Артамонов, командир дивизиона — лейтенант Федотов, командир полка — подполковник Печенкин).

С 28 июня командир артиллерийской батареи. Участие в активных боевых действиях с 1 июля 1941 г. (командир полка — капитан Ботвинник Абрам Менделевич).

Мой боевой путь:

Белоруссия — г. Борисов 1,2 июля 1941 (жесточайшая оборона).

Толочин, Крупки, Орша, Горки и всюду жесточайшие бои. Я уже не командир батареи. Орудия разбиты. Тягачей нет.

Я командир стрелковой роты 175-го мотострелкового полка.

13 июля недалеко от города Горки мы оказались в тылу врага.

Сентябрь — декабрь 1941 г. — на излечении после ранения.

Декабрь: Наро-Фоминск, Боровск, бои за отдельные населенные пункты.

Январь 1942 г. — постоянные бои за населенные пункты.

15—21 января: бои за город Верея.

30 января: города Медынь, Мятлево и населенные пункты Шумово, Гусево, Вереево, Фокино, далее населенные пункты: Бикисши, Кукушкино.

31 января. Образцово.

Февраль: Дороховая, Хвощи, Пинязи, Череве, Кувшиново, Поповка, Мятлево.

6 февраля: Семеновское, Извольск, Перепудово.

7 февраля: Мякота, Фроловка. Нацеливаемся на Захаровку (Захарово), впереди её Крапивка.

Февраль 1942-го:

1-го: Образцово. Ухово,

2-го: впереди деревня Хвощи

3-го: убиты начальник штаба полка майор Щеголев, комбат старший лейтенант Пилименко.

4-го: на наблюдательном пункте в церкви перед Пинязи

5-го: на наблюдательном пункте в деревне Пинязи.

6-го: Пинязи (Поповка), Семеновское, Извольск.

7-го: Мякота.

8-го: Фроловка.

13-го: атакуем Захарово. Очень большие потери, среди них много командиров.

15-го: около Захарово танк прошел сквозь наш сарай, убит командир взвода управления.

16-го: я легко ранен в левую руку.

17-го: я ранен в правую ягодицу. Кости целы, ходить тяжело. Отбивали «психическую атаку».

18-го: ранен разрывной. Рука разбита, кости побиты. Далее воевать нельзя: надолго на излечение.

21-го: добрался до Москвы.

Март 1942-го:

6-го: профессор Бакулев делал операцию 1 ч. 50 мин. Сказал: через 3—4 месяца буду здоров, а воевать месяцев через 4—5.

Апрель 1942-го:

20-го: выписан — «ограничено» годен. 1,5 месяца амбулаторное долечивание. Затем в конце мая в начале июня вырвался в полк командиром дивизиона.

Невезенье: через две недели с половиной попало в ногу. Командир полка Ботвинник отправил назад в Москву и сказал, что без документа больше не возьмет. Просил у Щаденко на 3 месяца на учебу в город Семенов. Просил обратно в полк — не вышло.

Декабрь 1942-го. Сталинград.

Февраль. 1943-го. Начальник штаба 266-го армейского артиллерийского полка 62-й армии.

3 июня 1942 г., не закончив лечение после ранений, полученных в феврале, вернулся в свой 35-й гв. артиллерийский полк на должность командира дивизиона, но через 2 недели был снова ранен (довольно легко), был отправлен из полка.

Попытался попасть в 8-й воздушно-десантный корпус на должность командира корпусного минометного дивизиона, но был признан не годным к командной работе. Отправлен на долечивание и на 3 месяца в высшую офицерскую артиллерийскую школу города Семенова (Горьковская область), где прошел курс командиров артиллерийских дивизионов и начальников штабов артиллерийских полков.

После этого в декабре 1942 г. был назначен начальником штаба 266-го армейского артиллерийского полка 62-й армии Донского фронта.

После завершения Сталинградской операции в феврале наш полк из 62-й армии убыл на Северо-Западный фронт, где стал армейским артиллерийским полком 68-й армии. В апреле погиб заместитель командира полка майор Добрунов, и я был назначен заместителем командира полка. В мае полк был преобразован в 211-й гвардейский. В этом же мае 20 числа командира полка Чекалова отправили в госпиталь, где 1 марта 1943 г. он

скончался, а я с 20 мая 1943 г. по ноябрь 1943 г. исполнял обязанности командира полка.

За этот период участвовал в Смоленской операции, в освобождении города Смоленска, ряда населенных пунктов и далее на Оршанском и Витебском направлениях.

В ноябре 1943 г. в виду оргмероприятий был назначен и с декабря 1943 г. командовал 554-м армейским артиллерийским полком 63-й армии Западного фронта.

Участвовал в боях за ряд населенных пунктов, в форсировании реки Днепр, захвате заднепровского плацдарма и освобождении города Рогачев.

За форсирование Днепра полк был награжден орденом Красного Знамени, а за освобождение города получил наименование Рогачевский.

Перед Рогачевской операцией полк был передан в 3-ю армию. По оргмероприятиям был назначен командиром 156-го гвардейского артиллерийского полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 25-го стрелкового корпуса 69-й армии на Радомском направлении.

Участвовал в форсировании реки Висла, в захвате и расширении Завислянского плацдарма.

В октябре — декабре командовал тяжелой гаубичной бригадой 6-й артиллерийской дивизии прорыва 4-го артиллерийского корпуса.

В январе — апреле 1945 г. в должности заместителя командира 140-й армейской пушечной бригады участвовал в составе 31-й армии в Восточнопрусской операции в овладении восточнопрусских городов, в штурме и овладении городом Кенигсберг.

В апреле — мае бригада участвовала в боях в Силезии, Саксонии, а 9 мая — в освобождении города Прага.

Боевые действия закончил 12 мая 1945 г.

После этого я был назначен командиром артиллерийского полка, который был передислоцирован в Венгрию в город Надьканижа.

В августе 1945 г. был откомандирован в Москву, где поступил на учебу в Артиллерийскую академию.

Было множество публикаций в военных и гражданских журналах, в газетах, в книгах, сборниках. Библиографии сейчас привести не могу, т.к. учета не вел.

Имею неопубликованные воспоминания о военном времени, о различных встречах с руководителями военными и государственными деятелями, работниками искусств (состояние готовности различное, объем 25—30 печатных листов).

Имею награды:

— ордена Красного Знамени (№ 257412), Красного Знамени (№ 289939), Красного Знамени (№ 33691), Жукова (№86, Указ президента РФ № 1331), Александра Невского (№ 1034), Отечественной войны I ст. (№ 23528), Отечественной войны I ст. (№ 537546), Отечественной войны I ст., Красной Звезды (№ 27545), Красной Звезды (№ 3152882), «За мужество» (Республика Украина);

— медали: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Кенигсберга» и еще 20 различных медалей;

— знаки: «Шахтерская Слава» I, II, III степени, Почетный работник угольной промышленности.

Являюсь почетным гражданином городов: Рогачев (Белоруссия), Фатеж (Курская обл.), Артемовск (Украина), Артем (Приморье), Ратибуж (Польша).

## **Партизан первых дней войны**

Оказавшись 13 июля 1941 г. с остатками своей роты в тылу врага в районе деревни Кривцы (10 км западнее города Горки), мы начали пробираться на свою территорию. После нескольких мелких стычек с немцами от группы осталось 4 человека: старшина Лауэнбург, сержант Ерхов, рядовой Бренер и я.

По маршруту движения мы резали связь (между Любичем и Тимоховцами, на большаке Орша — Витебск, на переезде в дер. Веревоиша и в др. местах), разбирали мостики через ручейки и канавки.

30 июля 1941 г. в селе Село (в районе Каспля) мы нашли листовку с обращением командования Западного фронта, призывающем офицеров и бойцов, попавших в тыл врага, организовать партизанские отряды и бить врага с тыла.

Начали организацию небольшого отряда, в котором собралось 16 человек; в том числе младший лейтенант Авдеев (артил-

лерист), лейтенант Кононов (сбитый летчик), политрук Тевелев, сержанты Юранев, Кравченко, Голубев и перечисленные выше. Фамилии остальных не помню, их называли по именам.

Начали действовать отрядом. Резали связь и убивали проходивших для починки линии телефонистов, разбирали мостики через ручейки и маленькие речки, сбивали на лесных дорогах автомобили, мотоциклы и подводы, били мелкие группы немцев, встречавшихся на дорогах.

3 августа 1941 г. в районе Шалатони-Яшино сбили машину «опель-кадет» и убили ехавших в ней двух немцев.

5 августа 1941 г. на большаке Слобода — Демидов сбили подводу, убили немца-возчика и прорвали связь вдоль большака.

6—8 августа 1941 г. в дер. Городище обстреляли группу немцев на южной окраине деревни.

19 августа 1941 г. на трассе Смоленск — Ленинград около деревни Березуги обстреляли стоявшую лагерем немецкую мотоколонну.

12—14 августа 1941 г. в лесу на дороге Зальнево — Коты сбили мотоцикл и убили двух мотоциклистов.

15 августа 1941 г. в лесу на дороге Зеленая Пустошь — Заозерье обстреляли транспорт с немцами.

16 августа 1941 г. в лесу на дороге, идущей на север от деревни Латыщина, сбили три подводы груженные продуктами и крестьянским добром, возчиков убили.

17—18 августа 1941 г. на большаке Желюхово — Климьты обстреляли немецкий конный обоз и порезали связь. На дороге Заозерье — Климьты разобрали 3 мостика. На западной оконечности оз. Щучье убили двух немцев, катавшихся в лодке.

21 августа 1941 г. вели бой с немцами, окружившими отряд на опушке леса около деревни Дегти, и вырвались из кольца. Немцев привели Иван и Николай Шалденковы, жена и дочь Николая Шалденкова.

22—23 августа 1941 г. обстреляли машину на лесной дороге через урочище Гарельник

24—25 августа 1941 г. обстреляли обоз и колонну немцев на дороге Котовщина — Лучаны

26 августа 1941 г. в урочище Гарельник мы встретились с отрядом Алексея Флегонтова. Флегонтов был одет в мокасины, зеленую гимнастерку и фуражку. У него был орден Красного

Знамени старого образца (РСФСР). По рассказам, ему было 54 года. В 1918—1922 гг. он партизанил в дальневосточный тайге против японцев. С ним были его начальник штаба (пожилой капитан) и начальник особого отдела.

Группа Флегонтова состояла в то время из 10—15 добровольцев-москвичей из ОМСБОН (отдельная мотострелковая бригада особого назначения). Некоторые из них работали до войны на трамвайном МОГЭС, по фамилиям помню: Попов, Котелкин, одного по имени Виктор.

По их рассказам, после краткосрочной школы с 1 августа они начали переход за линию фронта. К 18 августу отряд был в немецком тылу. Вооружен отряд был ППШ, маузерами, ТТ, ножами в резиновых чехлах, ручными и зажигательными гранатами. Одеты они были в гражданские костюмы и кожаные армейские сапоги.

В отряде была рация «Северянка» в двух упаковках.

Флегонтов распорядился включить наш отряд в свою группу и назвал его Оперативно-разведывательной группой.

Включив в наш отряд 3—4 своих автоматчиков и местного жителя по кличке Мужик из села Обошное, дав ручные и зажигательные гранаты, Флегонтов поставил перед нашим отрядом задачу разбить немецкие штабы в деревнях Ильино и Обошное.

29—31 августа 1941 г. эта задача была выполнена. В деревне Ильино были обстреляны, забросаны гранатами и сожжены постройки, где жили немцы, а также оборонительные постройки, сделанные немцами. Показавшиеся там немцы были перебиты.

В селе Обошное помещался немецкий штаб и стояла воинская часть. Помещение штаба и конюшню забросали ручными и зажигательными гранатами; палатки, где спали немцы, обстреляли из автоматов и винтовок: в селе до утра шла стрельба и слышались крики немцев. Об этой операции было написано в газете «Известия» от 7 сентября 1941 г.

1 сентября, по заданию Флегонтова наш отряд напал на немецкий штаб и кавалерийскую часть, расположенные в деревне Максименки у западной оконечности озера Щучье.

В Максименках забросали гранатами штаб, забросали гранатами и обстреляли из автоматов спавших в палатках немцев. После этого в немецком лагере до утра шла стрельба.

Возвращаясь обратно, около места расположения штаба на- рвались на засаду. Отряд Флегонтова ушел в сторону и еще дважды наткнулся на засады. Встретившийся потом рядовой Бреннер рассказывал, что вечером 1 сентября штаб Флегонтова окружили немцы. Пробившись отдельными группами, его отряд ушел в лес.

Потеряв связь с Флегонтовым, мы продолжали действовать маленькой группой.

4 сентября обстреляли немецкую колонну около деревни Бельня.

5—7 сентября обстреляли баню с немцами в районе хутора Терехова.

В районе Железница я был ранен, и мы четверо (лейтенант Кононов, младший лейтенант Авдеев, рядовой Бреннер и я), оставшиеся от отряда, перешли через линию фронта в расположение наших войск.

Шли по маршруту: Железница — озера Височертские — урочище Пилецкий Мох — станция Кащенко — станция Земцы.

По выходу в наше расположение меня и Бреннера (раненых) положили в санчасть 115-го запасного стрелкового полка, а Кононова и легко раненого Авдеева куда-то направили — не знаю куда.

### **На следующий день новая пуля настигла меня**

Полковая пушка выстрелила, озарив местность красноватым светом и тускло, обрисовав приземистый, угловатый танк. На его броне блеснул ослепительный яркий шарик, от шарика полетели светящиеся брызги, и вдруг все это ушло куда-то направо вверх — рикошет. Снаряд не пробил броню танка.

— Прожигающий! — закричал диким голосом командир орудия.

— Нет у нас, послали на другие орудия, — ответил в темноте солдат.

— Гранатой (то есть снаряд не бронебойный) осколочно-фугасный! — крикнул сержант с отчаянием.

Он понимал свое бессилие, Танк был уже в 200 метрах. Стоит ему на мгновение остановиться, сделать только один

прицельный выстрел — и ни пушки, ни его самого не будет. А если не выстрелит, то все равно через минуту тяжелые гусеницы будут давить орудие и расчет.

Еще выстрел. И снова рикошет.

Со всех ног не пригибаясь под огнем к орудию подбежал солдат. Под мышкой с правой стороны у него торчал снаряд. Он с ходу во все горло крикнул: «Достал, достал, есть снаряд!»

Орудийный замок лязгнул. Командир исчез под щитом.

Танк гремел так громко, что, казалось, все вокруг наполнил своим быстро приближающим и бурно нарастающим лязгом. Танк был уже совсем рядом. Ярko и отчетливо показались в блеске выстрела его грозные очертания.

На его лобовой броне под короткой пушкой снова возник огненный шарик. В мгновение он разросся, показалось, что завертелся, как молния, метнулся — и его будто всосало внутрь танка, оставив множество ярких брызг, которые, разлетевшись в стороны и затухнув, оставили в место себя белое раскаленное светящееся пятно.

Танк задергался, резко развернулся, еще секунду другую куда-то рвался, гремел, но вдруг противно заскрежетал, еще раз дернулся и замер. Его холодивший душу лязг прекратился; от сердца отлегло.

Из железного борта брызнула и полилась тоненькая горячая струйка.

В танке засветилось множество дырочек и щелей из них начало вырываться пламя. Разгоралось, как будто подожгли дом под соломенной крышей

Здорово горело, начало шипеть. Стало светло. Солдаты следили за железными люками; они не открывались, экипаж не выскакивал — значит, струя бронепрожигающего снаряда поразила немецких танкистов. Я решил проползти вперед, чтобы при свете горящего танка пострелять по целям.

Проползли метров 100—150. Любопытно. Ночь, а светло, далеко все видно. Тени пляшут. От огня душа радуется. Горит железный дьявол.

Остановливались, осматривались, переговаривали с радистом.

Видно, не слишком заботились о маскировке, высывались из снега, за тенью своей не следили. Вот нас, наверное, и заметили. А может быть, и не нас двоих заметили, а других.

Народа в снегу немало копошилось. Стремительные белые трассы пулеметных очередей помчались вокруг. Куда они шли на самом деле, бог их знает. Но субъективное ощущение человека несколько не соответствует действительности.

Кажется все трассы — только в тебя, а ты, как в центре притяжения. Со всех сторон концентрируются только на тебе, и ты у них, как в фокусе.

Ткнулся лицом в снег (вся морда мокрая), сверху один зад торчит. Лицо врывается в снег чуть ли не до земли.

Пролетели пули и не свистнули даже. Значит, далеко летели.

Ведь не новичок был на войне. Пуль летало вокруг много. Привык.

На слух реагировали. Зря не кланялся перед ними, когда не надо, не пригибался, а вот трассирующие они действовали всегда, как на новичка.

Что поделаешь, кроме воли и опыта есть еще нервы и инстинкты, которыми нельзя управлять как механизмами, их надо совершенствовать и тренировать.

В общем, ночные трассы очень неприятны, тем более что некоторый обман зрения и большой зрелищный эффект сильно влияют на человека.

Звуки выстрелов, разрывав и другие шумы ночью усиливаются, постороннего видишь вокруг себя гораздо меньше, только яркие вспышки и трассы. А они как светящиеся огненные струи стягивают к тебе стремительно, в мгновение приближаются и вдруг, кажется, не долетев какой-нибудь метр, резко отворачивают и круто уходят в сторону.

Однако, как бы там ни было, но воевать было нужно, несмотря ни на какие световое и прочие эффекты.

Радист рядом, немец впереди, трассы видно, а они, хотя и мучают, но при внимательном наблюдении по трассам можно разобраться, откуда бьет пулемет. Значит и в этой медали есть вторая сторона.

Вот я и разобрался. Нашел два пулемета, приладились на снегу, развернули рацию, настроились.

Полетели наши снаряды и по очереди задавили оба пулемета.

Разбили ли пулеметы? Убили ли пулеметчиков? Сказать трудно. Темно, далеко. Во всяком случае, пулеметы замолчали, трассы прекратились. Свернули рацию, поднялись со снега, по-

шли дальше, внимательно всматриваясь в темноту. Искали новые цели.

От танка мы были в стороне и уже на порядочном расстоянии, казалось, что он нас почти не освещает.

Вдруг кто-то наотмашь резко ударил меня по внутренней стороне левого локтя, там, где косточка выступает. Это ощущение мгновенно изменилось и показалось, что раскаленный штопор, именно широкий спиральный и раскаленный штопор, а не что другое стали ввертывать мне между косточек локтя.

Затем почувствовалось, как уже остывающий штопор вошел между костей, с сильной болью стал их раздвигать, и в локоть ударило электрическим током.

Такое ощущали многие, когда ударились локтем. Но только я почувствовал электрический удар куда более сильный, настолько сильный, что он распространился по всему телу, ударил в голову, дошел до глаз, отчего показалось, что оба глаза сошлись на переносице и в них мелькнули белые светящиеся острые брызги.

И почти все исчезло.

Весь гром ощущений, который в миг оглушил и парализовал сознание и тело, прошел вдруг. Прошел, и будто наступила тишина, такая же внезапная как тишина после яркой молнии и оглушительного грома.

Левая рука онемела, и в наступившей тишине появилось ощущение будто рука отсутствует, как будто руки нет совсем.

А затем это онеменение стало сменяться ощущением буд-то между локтевых костей сидит тупой металлический предмет, который быстро разогревается.

И все это то ли в доли секунды, то ли в считанные секунды. Однако за это время я успел сильно вспотеть и уже находиться, не стоя на ногах, как было перед ударом, а уткнувшись и буквально врывшимся в снег.

Постепенно ощущение горячего прошло, но продолжало казаться, будто что-то толстое влезло в локоть, раздвинуло кости и это очень неприятно.

Шоковое состояние, вызванное всем происшедшим и длившиеся секунды, совершенно прошло. Полностью возвратилось чувство реального.

Прежде всего, надо было выяснить состояние руки. Ранее я был уже ранен и потому столь сильный болезненный удар вызвал у меня серьезные опасения.

Радист Бережков копался где-то рядом. Я окрикнул его:

— Бережков, ты жив?

— Все в порядке, жив. Но пристрелялись сволочи здорово. Прямо по нам. Заметили, проклятие. А вы-то что, товарищ лейтенант, там елозите да по снегу крутитесь? Как у вас, в порядке?

— Да не совсем,— ответил я в полголоса.— Меня в руку трахнуло.

— Да, ну. А куда?

— В локоть.

— А здорово, не разрывная?

— Черт его знает. Но рука цела, не отбило.

— В какую руку, в правую?

— Нет в левую.

— Ну, это уже лучше. Будем уходить?

— Нет. С начала тут с рукой разберусь.

— Вам помочь?

— Пока не надо, пожалуй, сам управлюсь.

— А пакет есть?

— В кармане.

— Ну, давайте смотрите, а я вам завяжу.

— Хорошо. Погоди, только дай разденусь сначала и разберусь с рукой.

Надо было во всех отношениях опробовать руку.

Я делал все как-то не совсем осознано, скорее инстинктивно, но в определенном порядке и с определенной целью.

Попробовал пальцы — двигаются без ограничения, только локоть больно. И то хорошо.

Плечо вверх, вниз и в стороны ходит. А вот в локте движение сильно ограничено. Такое ощущение, будто в шарнир попал посторонний предмет и заклинил его. При этом любая попытка сгибать руку в локте вызывала боль и ощущение распираания изнутри, как будто кости раздвигаются.

Надо было срочно обследовать локоть. Все остальное было, безусловно, в порядке. Обшарил левый рукав полушубка. На внутренней стороне дырочка. Ни второй дырочки ни вырванного куска нет. Значит застряло.

Подобрал под себя ноги, встал на колени, правой рукой растегнул полушубок, вытащил из него сначала правую руку, потом сбросил со спины, осторожно стянул с левой руки, подsunул полушубок под колени, стоять стало мягче и не протаивало. Попробовал гимнастерку, на локте мокрая, горячая, липкая кровь, но немного, совсем мало.

Попробовал засучить рукав. Не получилось, узко, а разрезать жалко.

Расстегнул меховую жилетку, сбросил; расстегнул гимнастерку. Бережнов помог стянуть ее с головы и с левой руки. Холодно, но делать нечего, да и к теплу в то время мы не слишком привыкли. Засучил рукав нательной рубахи.

Кроме обычной белой фланелевой, была еще шелковая трикотажная коричневого цвета.

А зачем шелковая?

В то время часто банится нам не приходилось, от госпиталя до госпиталя. На отдых и формировку мы почти не выходили. А насекомые, короче говоря, вши или «педикулез», как на языке медиков это называлось, у нас водились.

Говорили, что на шелке они хуже держатся, скатываются. Вот и старались. Кто мог из офицеров, заводили себе шелковое белье. У меня, кстати, такая возможность оказалась.

Кое-как засучили и трикотажный рукав. Руку приятно обдало холодом.

Накинул жилет. Все же не так продувает.

Пощупал локоть. Он был скользкий от крови, и казалось, начинал припухать. Вот и пуля. Не осколок, это ясно потому, что при ударе в руку рядом не было разрывов ни мины, ни снаряда.

Попробовал схватить пулю пальцами. Очень маленький кончик, почти только доньшко. Липкое и скользкое. Взял кусок снега помял в руке, оттер им кровь, ухватил ногтями кончик пули, нажал как следует пальцами, вдавил их в тело. Почувствовались закраины пули. Дернул было, но выскользнула проклятая, не вытащил. Снова оттер снегом кровь и вытер кусочком бинта. Надавил посильнее, подвигал локтем, сгибал и разгибал. Неприятно, конечно, но что поделаешь не оставлять же пулю если выбросить можно, захватил наконец проклятую получше.

Дернул и вытащил. Выдернул, бросил в снег, и сразу жалко стало. Зачем выбросил эту пулю, была бы память.

В локте тут же почувствовалось облегчение, как после того как занозу или соринку из глаза вытащишь.

Потекла кровь, сильно, струйкой. Раньше пуля, как пробка закупоривала ранку, а тут рана открылась. Но теперь уже все было гораздо проще. Бережной положил один тампон перевязочного пакета на рану, вторым он еще раньше вытирал кровь мне с руки, перебинтовал локоть, оттер, как мог кровь с руки, помог мне одеться, и все было в порядке.

Ранение, вообще-то пустяковое, пуля попала на излете, уже без силы, потому не пробила в мгновение руку и не разбила кости, а медленно влезала, в конце концов застряла и остановилась. А впечатление от этого влезания ослабевшей пули было такое, будто всю руку отбивали напрочь. Так во всем бывает: где нет силы, там действуют на эффект.

Подвигая рукой в локте, поработал кистью.

Все действовало безотказно, и хотя в локте было больно, стало совершенно ясно, что все обошлось благополучно и серьезной помехи для продолжения работы нет.

Бережнов протянул мне флягу, я глотнул пару глотков холодной водки, вернул ему флягу, а сам почувствовал, как быстро согреваюсь после раздевания на двадцатипятиградусном морозе.

Эпизод с ранением в руку можно было считать законченным.

Пару часов мы еще покрутились недалеко от сгоревшего немецкого танка, провели три стрельбы, выпустили три десятка снарядов и вернулись на наблюдательный пункт.

В снеговом бдиндажине горел маленький костерик, и мы с Бережным, греясь больше дымом, нежели пламенем, передраемали часок-другой.

То место, что было обращено к костерику, грелось сильнее, а то, что с другой стороны от костерика (на земле или сверху) — дрожь пробирает. Вот и крутились в полудремоте, подставляя одно место теплу, предоставляя все остальное морозу.

Помнится, в детстве, играя с товарищами и неудачно нагнувшись, мы получали «леща» — шлепок пониже спины. При этом шлепнувший говорил: «По натяжке бить не грех, полагается для всех».

Так вот и я в неописуемом грохоте разрывов, мин и снарядов, среди постоянного свиста, жужжания и шлепанья пуль, перебегая по залитому кровью снегу, почувствовал, что мне отвели пребольно «леща».

Я невольно остановился и выпрямился, но прожужжавшие стремительные трассы заставили меня кинуться головой в снег.

Я не понял, кто меня ударил. Резкая, стягивающая боль проходила быстро, как после шлепка.

Сразу пополз вперед, прокапывая головой и руками дорогу в высоком рыхлом снегу. Некогда размышлять о случившемся и думать, что произошло, время не ждет, да и невидимый немец-стрелок смотрит, ждет, не поднимется ли тот, кто упал после его выстрела.

Сзади по пятам сначала бежал, а теперь полз радист Бережнов.

Надо было срочно найти и накрыть два кинжальных пулемета, которые раскладывали нашу пехоту.

«Неужели в зад попала и застряла внутри. Вот неподходящее место!» — подумал я.

В это время спереди потекло между ног такое же горячее, скользкое, влажное. Стало скользко и неприятно, будто между ног намылили, будто на мокрые кальсоны подливают кипяток.

«Насквозь. Слава богу! Значит, ничего», — подумал я. Зад быстро отяжелел. Правой ногой стало трудно двигать.

Эх, не время! Кто теперь заметит? Ведь во всем дивизионе, кроме меня, остался лишь один офицер — старший лейтенант Кучинский, мой заместитель. Но ведь он бывший председатель райисполкома, а не артиллерист. Он не умеет как следует стрелять батареями, а управлять огнем дивизиона не может вовсе.

На батареях командирами остались гв. младший сержант Синцов да рядовой Степанов. С них хоть и неважные командиры батарей, но кое-как стреляют. Но они последние. А дальше? Дальше огня уже не будет.

Самая изощренная ругань по адресу немцев вырвалась из моих уст. В другое время мне никогда бы и не придумать такое ужасное словосочетание, но тут какой-то нескончаемый поток срывался с моих губ.

— Что с вами, товарищ лейтенант? — крикнул радист, заметив, очевидно, уже неоднократно виденное им изменение в движениях и во всем поведении у раненного человека.

— В пузо вошло, в зад вышло, а может быть, наоборот,— ответил я.

— Вы снова ранены?

Эти простые слова ошеломили меня. Напряжение боя было настолько велико, что после удара пули, тогда еще все мысли были заняты боем, и лишь сейчас, после этих простых и непонятных слов, я начал отдавать себе отчет в том, что произошло со мной: я снова ранен. Снова госпиталя, скитания, перевязки. Опять отдел кадров на Китайском проезде в Москве. Снова добиваться чтобы возвратили в свой полк, а тебя либо в академию учиться, либо в училище преподавать, или в центральный аппарат чиновником — начальству бумаги подавать.

Нет, не пойду. Никуда не пойду. Не хочу. Буду в дивизионе. Буду драться. Ведь без меня дивизион замолчит. Степанов и Сенцов одни не справятся.

А еще одна, третья батарея в дивизионе совсем без комбата. Ею и сейчас уже, кроме меня, командовать некому.

— Бережнов, домой! — крикнул я радисту.

— Вам помочь, товарищ лейтенант?

— Нет, сам допылю.

Не удалось. Не выследил проклятые пулеметы. Дорожки, где снег примят и можно ползти так, чтобы тебя не увидел сидящий сбоку в 200-300 метрах немец, сплошь залиты кровью.

Вот капли одна за одной, как красные бусинки, яркие, яркие, в середине темней, по краям светлей. Вот перемешанный розовый снег. Дальше то, что принято называть лужей крови. «Тут кого-то стукнуло», — подумал я. В снегу глубокая красная проталина неправильной формы. В середине протаяло почти до земли, но в самом центре остался кусочек снега, как красный гребень петуха, узорчатый, чуть-чуть белесый по краям.

Рядом такая же лужа поменьше, а дальше крупные кровавые пятна, немного смешанные ногами. Непроизвольно мне представилось, что произошло;

Там его стукнуло, он полежал, потом зажал рану, кровь все равно лилась. Он уполз. Много убитых. Наших и немцев. Лежат разорванные и просто убитые. Трупы замерзли. Их стараются положить вдоль тропок справа, чтобы сделать некое подобие защитных брустверов от фланкирующего немца...

Засвистели мины и захлопали вокруг, обдавая снежной пылью и отвратительным дымом немецкой (суррогатной) взрывчатки, черным, противным, гадко-удушливым.

Стремительно, с угрожающим шипящим свистом вокруг летят трассы и шлепаются в снег, поднимая снежную пыль и оставляя лунки.

Вот «мой» поворот. Еще немного — и «дом».

А «дом» наш был на выступе рощи под раздвоенной березкой. Слева спереди пехоты. Между ним и немцем никого не было, а было лишь 400 метров снежного поля, холмик да дорожка, вернее, снежная траншея от нас к немцу, которую несколько дней назад немцы заставили прокопать наших деревенских жителей. Под березкой была воронка от снаряда. Нашего или немецкого — я не заметил, когда подбирал это место. Меня это тогда не заинтересовало.

Края воронки мы углубили до земли. Вместо пола положили одетые в шинели трупы, и свои и немецкие. На них набросали куски шинелей, что срезали с убитых. Обвели сплошной снежной оградкой высотой три четверти метра. Со стороны противника в нее вделали замерзшие трупы, чтобы пули не брали. Противник был у нас справа, спереди и слева спереди, потому это своеобразное блиндирование было почти с трех сторон. Сверху натянули срезанные опять-таки с убитых маскхалаты, присыпали все белым рыхлым снежком, и стало все незаметным — применилось к окружающему.

В сторону противника были сделаны узкие амбразурки. Дверь была дыркой, завешенной плащ-палаткой.

Не надо всему этому удивляться, не надо ужасаться, а главное, не надо возмущаться. Это война.

Хотя на войне мы верили во многие предрассудки, которые были, конечно, в большей мере традиционны, нежели сознательны, однако отбросили массу стесняющих условностей и все приспособлявали, из всего извлекали пользу.

Убитые наши товарищи, телами которых мы прикрывались от пуль и защищались от холода, не упрекнули бы нас. Они честно дрались, они хотели бы еще служить своей земле, принести пользу Родине. Смерть оборвала их дела. Мы же дали их телам в последний раз возможность заслонить свою землю и своих друзей от вражеских пуль.

Это неумолимая, ни с чем не сравнимая обнаженная логика войны.

«Дома» в снеговом бдиндажике сидели солдаты совсем оскудевшего, поредевшего взвода управления: телефонист Якунин, разведчик Галка Трофейный — я его «купил» в пехоте за разрушение огневой точки в ледяном блиндаже, израсходовав на это всего три снаряда.

Еще один парадокс войны: человека купили. Да. И такое было. Не за деньги, конечно, не ради корысти. Все только лишь для боя, для победы. И возразить тут нечему и некому.

Артиллерийские батареи были настолько обескровлены, что остававшиеся в строю люди, среди которых многие уже были ранены, не могли обеспечивать боевую работу. Огневые возможности батарей, темп стрельбы снижался, падал, а огонь противника продолжал уносить людей.

Пополнение артиллеристам почти не давали, в то время как пехотные роты пополнялись иногда дважды в день.

Вот тут-то и получалось так. Стреляет немецкий пулемет. Сечет пехоту. Просит командир роты накрыть пулемет, а артиллерист ему:

— Дай связного!

Значит, солдата для связи между ними.

— Да зачем тебе связной? — удивляется ротный. — Мы же и так все время рядом.

А артиллерист ему свое:

— Зачем, зачем? Затем!

Пехотинец в недоумение

— Да я же тебе за вчерашний день уже двух дал.

Артиллерист неумолим:

— А тех уже нет.

И в этом не было обмана. Тех ли двух уже нет или других, но в батарее потери и работать некому.

Ротному приходилось соглашаться, и назначенный им солдат не заставлял себя просить. Он сразу буквально жался к артиллеристам и лишь боялся, как бы начальники не передумали.

Это не было стремлением уйти от опасности, спасти свою шкуру. Артиллерия несла очень большие потери. Но артиллерия как-то солиднее. Она лучше организована. Так всегда было. Таков уж этот род войск. Вот так и «покупали» людей в ту первую военную зиму.

В результате батарея стреляла, пулеметы давила, а старшина батареи зачислял на довольствие нового солдата, а кого-то, того, кого уже не надо было кормить, списывал.

А в роте? Там просто недосчитывались вечером одним человеком больше. Не получал он продукты, на кухне свой котелок не подставлял, в госпиталь его санитары не отправляли и в документах, которые по возможности собирали у убитых, он тоже не значился. Тогда ротный писарь передавал в батальон, оттуда — в полк. И если все было именно так, в штабе полка писарь строевой части записывал: «Пропал без вести»,— и посылалось извещение, если было куда послать. И не было во всем этом ничего из ряда вон выходящего — у войны свои законы.

К лету 1942 года такого уже не было, а зимой еще было. Виной в этом были не люди, а война. Тогда еще мы только учились воевать и за год с небольшим неплохо научились.

— Эй, Сорока! — крикнул разведчику вернувшийся со мной и пораньше залезший в снежный блиндаж радист Бережной.— Гони пакет, лейтенант ранен!

— Неужто опять нашего ранило? — воскликнул с тоской Сорока.

— Товарищ лейтенант, — сказал Якунин, как только я всунул голову в дырку-дверь, закрытую плащ-палаткой.— Это выходит опять вас?. Это выходит как замороженный!. Который уже, выходит, раз вас ранят. Других за это время давно поубивало, а вас ни разу не убило, только ранет. Вот счастье-то! Что теперь скажешь на это? Тогда это было счастье.

Бережнов помог мне влезть в наше убежище.

— Спускайте штаны, — сказал он шопотом, в котором чувствовались сразу и печаль о случившемся, и какое-то заискивание, и неуверенное приказание. Ему очень хотелось скорее перевязать мне рану, но он не знал, буду ли я перевязываться.

Давно немытое тело приятно обдало холодом.

Кисло запахла кровь.

Когда обрежешь палец или берут кровь на анализ, она не пахнет. А вот из раны, когда много крови, — пахнет.

Запах кислый, немного дурманящий, но в то же время свежий и ободряющий.

Некоторые вещи и понятия, иногда самые несвязанные между собой, вдруг соединяются в нашем воображении. Вот и

здесь при этом запахе крови в голове возникли два слова: «скользкий запах». Белье... Когда-то, два месяца назад, оно было белое, а теперь темно-серое от грязи и постоянного промокания. Кальсоны были мокрые от крови.

Пропитанный свежей кровью материал, кое-где уже впитал кровь и был просто похож на ярко-красную сырую ткань. Но там, где крови было слишком много, она не могла вся впитаться, там на красном фоне блестели большие темно-красные густые пятна. Они или стояли неподвижно, либо медленно ползли вниз,

А стоял на коленях без ватника, задрав вверх рубаху.

Тампоном перевязочного пакета стерли кровь. Готом снегом оттерли как следует, чтобы ничего не осталось на теле.

Спереди и сзади были две совсем маленькие круглые дырочки. Из них тоненькими струйками лилась кровь. От нее шел пар.

Кровь была густая и медленно-медленно порциями стекала на бинты, которые держали ниже ранок, чтобы опять не замарать ноги.

Иногда из дырочек надувался пузырек, потом лопался, и новая маленькая порция крови ползла вниз.

Дырочки были темные, почти черные. Сверху немного вогнуты вовнутрь, книзу, наоборот, собирались в маленький выпуклый бугорок, который, пульсируя, направлял вниз новые порции крови.

А кровь лилась вниз, как бы под образовавшейся пленкой, пробегая под ней продолговатым комочком, как мышка под чехлом стула.

Разорвали новый перевязочный пакет. Развели двойной тампон, приложили к ранкам — один спереди, другой сзади. Туго перебинтовали. Сразу стало легче. Как могли вытерли кровь с кальсон, и я снова оделся. Потом прилег и на несколько минут задремал под несмолкаемый грохот разрывов мин и свист пуль, проносившихся беспрестанно под самым нашим наблюдательным пунктом и иногда с гулким ударом впивавшихся в окочевшие тела, служившие нам защитой.

Некоторые пули ошипывали нашу березку. Некоторые — разрывные — давали сильный хлопок, наподобие резкого выстрела и долго и высоко звенели своими осколочками в морозной воздухе.

Мне некому было доложить о ранении. Командир полка сам был ранен, заместитель и начальник штаба майор Щеголев — убиты.

Я не имел права, морального конечно, бросить дивизион и отправляться в санчасть или в госпиталь. А потому, подремав несколько минут, поел немного снега (вода замерзла, а дым коистра демаскировал бы нас). Разведчик дал мне луковицу и кусочек хлеба, которые хранились у него за пазухой, поближе к теплему телу.

Я поел, пошевелил ногой, погнул поясницу и снова отправился искать пулеметы: и те, которые полтора часа назад раскалывали нашу пехоту, и те, которые били пехоту сейчас.

Я снова и снова ходил к командиру роты, ползал в боевое охранение, к большому огорчению потерял радиста Бережного. Его рана оказалась куда серьезнее моей. Он не мог двигаться. Оттащить его назад на НП я не мог — не позволяла правая нога. В ней было мало силы, да и вся правая сторона сильно ныла. Я лишь снял с него радиостанцию, чтобы не пропала, и возвратился в наш «дом» за подмогой. Рядом со мной снайпер убил ударом в голову комиссара 6-го мотострелкового полка батальонного комиссара Орлова в тот момент, когда он хотел мне что-то сказать (до лета 1942 года политсостав имел особое звание, это звание соответствовало майору). Пуля визгнула, потом шмякнула, и Орлов, открыв рот, ничего не сказал.

Я снова ходил. Стрелял, матерился, поднимал солдат пехотинцев, вел их в атаку по «дороге смерти».

На следующий день новая пуля настигла меня.

Разрывная пуля разбила кисть правой руки. Были видны белые кости, вбитый в рану мех от варежки, перебитый нерв — он загнулся вверх и лежал в виде крученой тонкой ниточки, развернувшейся на конце.

Пакета не было, перетянули веревочкой выше кисти, чтобы кровь остановить. Поползли назад. Один солдат-пехотинец, увидев, как здорово идет кровь, дал свой пакет, собрали как смогли кости. Перевязали с большим трудом и уже с помощью солдат дополз до пункта.

Четкость мыслей, необходимая для стрельбы и острота глаза, несколько нарушились. Корректировать огонь пока было невозможно. Рука начинала так болеть, что все остальные мысли

вылетали из головы. Видимо, осколки костей впивались в разорванные мышцы. Рукой нельзя было пошевелить. Повязка насквозь пропиталась кровью. Чтобы меньше беспокоить кисть, к руке привязали палочку.

Появилось головокружение. Солдаты влили в рот холодную водку, но не помогло.

Я не мог больше командовать дивизионом. Это стало ясно и солдатам, и мне.

Позвонил в штаб дивизиона, вызвал на НП заместителя — старшего лейтенанта Кучинского.

Попросил вызвать штаб полка. Но с этим пришлось подождать из-за нового приступа головокружения.

Прошло немного времени: минут 15—20. Вдруг телефонный зуммер. Меня вызывает командир полка. Он только утром прибыл в полк из медсанбата, где неделю лечился после небольшого ранения.

Сам, наверное, еще не снял повязку, но раз звонит, значит уже на ногах.

— Здорово, старший лейтенант, поздравляю с повышением. Я сегодня был в дивизии (т. е. в штабе дивизии), туда из армии звонили — есть приказ о присвоении тебе звания. Я и номер приказа привез. Приходи вечером ко мне на КП, в удостоверение впишем.

Он говорил так быстро, что я, при моем состоянии, даже не успевал ответить.

— Ну а как ты там себя чувствуешь? Мне сказали, что тебя позавчера зацепило немного. Как дела-то? Сам дойдешь, надеюсь, до меня?

Он сделал паузу, я собравшись с силами и мыслями медленно двигая языком и губами, сказал:

— Спасибо, за хорошую весть. Благодарю. Но прошу прощения. Я сегодня сильно заболел (у нас по телефону или радио не принято было говорить «ранен»). Меня, наверное, придется пока заменить.

С заметным беспокойством командир сказал:

— Ну, опять, а сильно, куда? Дойти до меня сможешь? Отсюда повезем на лошади.

— Спасибо, у меня есть ребята, помогут.

— Ну, так давай быстрее. Или фельдшера прислать?

— Нет, спасибо, сами доберемся,

— Тогда давай быстрей.

— Нет, быстро не могу, я Кучинского вызвал, заместителя Он с огневой придет, и я тогда пойду, а то дивизион передавать некому.

— Ну, давай, не жди, быстрее, а то еще хуже станет. Кучинский и без тебя за дело возьмется.

Потом командир полка еще что-то говорил с телефонистом, но я уже плохо реагировал на их разговор.

Меня укрыли. Наверное, я дремал. Сколько прошло времени, пока пришел Кучинский, я не мог определить.

Мягко растормошив меня, Кучинский говорил что-то хорошее. Кажется, чтобы я хорошо поправлялся, не спешил возвращаться назад, не волновался бы за дивизион. Потом качнулся над самым моим лицом, поцеловал меня в лоб. Я кое-как выполз из нашего снежного укрытия. Двое солдат осторожно подхватили меня, и мы втроем двинулись к КП полка. Сначала ползли по снеговой траншее. Ох, и неприятная была эта прогулка!

Правая рука с привязанной к ней палкой не только не помогала ползти вперед, но, будучи неподвижной, лишь мешала, тем более что ей нельзя было ни до чего дотрагиваться. Бинт полностью напитался кровью. Она больше не впитывалась и капала, пачкая и без того грязный полушубок и оставляя красные следы на снегу.

Левая рука тоже побаливала в локте, а правая нога и особенно бедро отяжелели.

В общем, особый подвижностью я тогда не отличался. Однако, учитывая помощь двух человек и ситуацию, мы стали довольно быстро продвигаться вперед. Ведь свистящие пули и рвущиеся мины хорошо подгоняют. Даже самые малоподвижные и ленивые люди под их воздействием обретают удивительную резвость и проворность.

Проползли метров 150—200, поднялись и пошли, пригибаясь. Но, видимо, рано поднялись — немцы заметили, засвистели пули, вокруг нас стали подниматься фонтанчики снежной пыли, а когда снег оседал, оставались луночки — следы пуль. Отреагировали моментально — повалились в снег и снова поползли.

Загудели мины и захлопали разрывы, будто доска, один конец которой прижат ногой, а другой оттягивается и ударяется об

бетонный пол, покрытый метлахской плиткой, только несравненно сильнее громче. Мы поползли быстрее, но несколько оглушающих ударов заставили остановиться и зарыться в снег до самой мерзлой земли.

Меня что-то сильно толкнуло в бок. Казалось, белая стена сдвинулась в мою сторону и рассыпалась, завалив почерневшим от гари снегом. Все затянуло черным дымом. На секунду парализовало волю и сознание. Почувствовалась могучая, грозная сила и полное бессилие перед ней. Затем, когда дым рассеялся, я левой рукой стал обтирать залепленное снегом лицо. Упало еще несколько мин, метрах в 7—10, не ближе, хотя кажется, что они падают буквально на тебя самого, а вот та самая страшная разорвалась действительно буквально под нами.

Очухались, отряхнулись, окликнули друг друга, попытались отползти по закопченному снегу, но один наш солдат, вместо того чтобы ползти вперед, встал на колени, копал руками снег и медленно перебирал ногами. Он даже не стер с лица снег. Было ясно, что с ним что-то случилось. Надо было ему помочь.левой рукой я оттер с его лица снег. Лицо не выражало ничего определенного, тело слегка дрожало, а взгляд был какой-то и отчаянный и далекий. Я потянул за рукав полушубка, но он не реагировал, а лишь еще немного привстал на коленях, упираясь в снег руками, весь напрягся, как при сильном позыве рвоты.

Так оно и было. Его сильно вырвало кровью и темными сгустками — очевидно, кусками легких. Он сразу сник и опустился на снег. Для него это был конец. Убедившись в этом и не имея возможности взять его с собой, мы перевернули солдата на спину, расстегнули его, вынули документы и все, что лежало в карманах, Галка снял с него трофейный пистолет, пристегнул себе на пояс. Большого сделать было невозможно. Мы двинулись дальше, с трудом проползли еще метров 100—150 до роши, там поднялись на ноги и медленно пошли вперед на КП полка. Шли вдоль опушки — так, чтобы противник нас не видел. Изредка хлопали мины и пролетали пули, но они летели не в нас, и мы на них не реагировали. На пути попался солдат, он шел не по нашей дороге, а поперек нее. Я окликнул его, спросил:

— Ты живой или раненый? — Почему спросил так несуразно, не знаю, но спросил именно так.

Он мне в ответ;

— А что? Ну, живой и не раненый.

— Тогда будь другом, помоги мне дойти.

А Галка ему:

— Слышь, солдат. Помоги нашему гвардии старшему лейтенанту до полкового КП дойти, а то им одним со мной несподручно идти. Они у нас со всех сторон побитые. Поддерживать надо.

Встречному солдату, видимо, не было особой нужды или желания торопиться и он, подумав немного, по-деловому ответил:

— Ну что ж, коли надо, так пойдем. Отчего бы хорошему человеку не помочь, когда он в таком положении, с каждым может случиться. Не заказаны и мы от такого.

Галка стал пояснять солдату, как было дело.

— Мы вдвоем их вели. Там моего напарника по дороге миной убило. Оставили его пока, только документы да вот пистолет взяли, потом похороним и заявим, когда вернемся.

Снова втроем мы продолжали путь. Прошли еще километра полтора. Вышли из рощи в сожженную дотла деревню. Ох и дались мне эти километры! Но все же до полкового командного пункта дошли. КП находился в полуобвалившемся погребе, над которым стояла двускатная крыша, покрытая дранкой. В погребок меня, конечно, не опустили, остались наверху, под крышей.

На КП был командир полка Абрам Менделеевич Ботвинник. На его лице поперек носа был свежий шрам от недавнего ранения. Вместе с ним несколько разведчиков, связисты, фельдшер Жерздев, писарь Халявко и еще пара человек.

Тут тоже за последние недели произошло опустошение. Хорошо, хоть командир полка вернулся.

Полушубок с меня не снимали, так как для этого надо было разрезать правый рукав чуть ли не до плеча. На правую руку наверх старых бинтов подложили большой кусок серой ваты, чтобы кровь не капала, подмотали бинты. Рука стала больше походить на бревно.

Затем полы полушубка подняли, опустили штаны, задрали рубашки. Фельдшер посмотрел, в каком состоянии раны на бедре. Подмотал немного бинтов и почистил спекшуюся на одежде кровь.

Очень хотелось пить, и я попросил воды с сахаром. Есть тоже хотелось. Дали гуляш с рисом. Кормили стоя. Оказалось,

что есть мне было довольно трудно. Ел левой рукой. Съел мясо, а рис оставил. Попросил добавку, мне подложили мелко нарезанное мясо. Я его съел с удовольствием и поел немного риса.

Потом снова дали кружку воды и сахарного песку в кулечке из газеты. Я ел сахарный песок ложкой и запивал водой. Я больше ел сахар, чем пил. Много воды фельдшер не давал, чтобы не было лишнего кровотечения.

Пока меня осматривали, поили и кормили, из штаба полка вызвали лошадь с санями. Командир полка еще раз поздравил меня с новым воинским званием и сказал, что соответствующую запись в удостоверение личности мне сделают в штабе.

Несмотря на состояние, мне было очень приятно получить наконец долгожданное звание старшего лейтенанта. Оно долго задерживалось в связи с моим пребыванием в тылу врага. Среди товарищей, успешно начавших войну и оставшихся к февралю 1942 года, я чуть ли ни единственный в довоенном звании.

Мне еще раз пожелали быстрее поправляться, дали массу всяких добрых напутствий, попрощались, и мы прежним составом, т. е. с Галкой, встреченным солдатом (его имени я почему-то не спросил) и с фельдшером Жерздевым, которому командир полка приказал сопровождать меня до медсанбата, двинулись в дальнейший путь.

Метров 50—70 пришлось остерегаться, чтобы нас не обстреляли, а затем зашли в лесок и пошли спокойно. Прошли еще метров 200—300 по лесной проселочной дороге. Там нас поджидал солдат с лошастью и санями-розвальнями. Рядом на снегу сидели двое раненых и просили возницу подвезти их до медсанбата.

Возница довольно важно объяснял им что нельзя — надо старшего лейтенанта отвозить.

Когда меня подвели к саням, солдаты, видя мое состояние, очевидно, постеснялись обратиться ко мне и заковыляли пешком. Я их окрикнул:

— Вы куда, калики переходные, волочетесь, нам же по одному адресу ехать.

— Ну что вы, товарищ старший лейтенант, — сказал один из них и, как мне показалось, другой его одобрил. — Мы вам помешаем, потесним. Вы «тяжелый» (т.е. тяжелораненый), а мы так себе, дойдем.

— Что вы, ребята, — сказал, им я, — как помешаете? Насчет мешать, так нам с вами немцы уже и так воевать помешали, а насчет тесноты, так это же в тесноте, а не в обиде. Садись ребята, поехали, а то в МСБ к ужину опоздаем.

— Да уж какой там ужин, — продолжал тот же раненый — только бы врачи нам раны вовремя обработали, а то еще заражение крови получится. Умереть можно.

Второй, видимо, ни в чем ему не перечил, во всем соглашался.

— Э... нет, ребята. Врачи врачами, они свое дело делают, а повар поваром. Солдату ни без того, ни без другого не годится. Что нам старая воинская премудрость насчет питания харча говорит, кто из вас знает?

Все тот же ответил.

— Ну, о том, что солдат должен быть ближе к кухне.

— Это правильно, — сказал я, — а почему это так?

Солдат подумал немного, но не ответил.

Зато второй раненый, до того не проронивший ни слова, вдруг выпалил:

— А это так, потому что в обороне главное — это харч.

— Правильно. Вот и обсудим наше положение. Мы же с вами в тыл едем, значит, не наступаем, а переходим к обороне от всяких болезнетворных бацилл. Значит, хватит, без ужинов и без обедов посидели, коли на мушку попали; теперь надо режим питания соблюдать.

— Да какой уж там режим, — быстро проговорил солдат, только что обретший дар речи; казалось, он торопится говорить, чтобы наверстать упущенное, — от немца всего километр, сюда не только снаряды, сюда и мины летят,

Пока шел этот разговор, меня уложили посреди саней на сено, накрыли одеялом, сверху положили еще какой-то брезент. Сразу стало так хорошо, так тепло, что, пожалуй, никакой госпитальный комфорт или домашний уют никогда не мог бы доставить столько удовольствия. Это мне казалось верхом удобств.

Раненые солдаты сели сбоку, подобрав под себя ноги, фельдшер, Галка и провожавший меня солдат тоже были стали определять себе место, но пожилой солдат-возница запротестовал и наотрез отказался брать их с собой:

— Куда вас столько! Сани маленькие, лошадь одна, дорога трудная. И лошадь и раненых только измучаете. Нельзя! Боле не возьму.

Фельдшер не очень настаивал. Мой случайный провожатый солдат, обращаясь к вознице, заметил серьезно;

— Ну что ж, мы раненому подмогли, теперь к себе пойдем. Ты раненых вези, папаша, а мы пойдем своей дорогой.

И, обратившись ко мне, продолжал:

— Ну, на том бывайте, товарищ гвардии старший лейтенант. Наше вам, поправляйтесь поскорее фрица добивать. — Он хотел, наверное, пожать мне руку, но руки-то мои были под брезентом. Ему, видно, очень хотелось как-нибудь попрощаться, и он пару раз осторожно погладил по брезенту, провел рукой по моей шапке и еще раз сказал: — Ну, бывайте!

А получилось это у него, видимо от избытка чувств, с запином: «ббывайте». Повернулся и зашагал назад по заснеженной дороге.

Фельдшер, видимо, что-то обдумывал, мявшись с ноги на ногу, а затем, обращаясь к вознице, сказал:

— Ну, ты смотри за гвардии старшим лейтенантом, чтобы чего не вышло. Довезешь до штаба, чтобы все было в порядке. Сильно не гони, на поворотах осторожно. Если что там, вдруг немцы, так пистолет у старшего лейтенанта на поясе. Сам снимешь его с предохранителя. Умешь?

— Ну, вроде бы умею, — ответил возница.

— Ну да, ладно. Смотри: вот как, — фельдшер стал приоткрывать меня.

А возница ему сразу:

— Да вы, товарищ гвардии лейтенант, на своем пистолете покажите, чтобы гвардии старшего лейтенанта не открывать, не тревожить

— Нет уж, давай на его. А заодно посмотрим в стволе патрон... есть... и все как полагается.

Отвернули брезент, подняли одеяло, вынули из кобуры мой пистолет ТТ, разрядили, повертели, проверили, щелкнули несколько раз, загнали патрон в патронник. После этого возница сказал:

— Ну, теперь все в аккурат. Все как есть знаю.

— Вот и хорошо, — согласился фельдшер, — а не забудешь, если что?

— Что вы, товарищ гвардии лейтенант, солдату об оружии никак забывать нельзя. Если что, так все сделаю по порядку, как положено. Не сомневайтесь.

После всех наставлений фельдшер пожелал мне скорее поправляться, но не спешить, ждать пока все заживет, поправил на мне брезент и, прощаясь, помахал рукой.

Возница тронул было лошадь, но заметив, что Галка примощается на краю саней, крикнул на лошадь: «Пррр!» — а на Галку:

— А ты куда? Ведь всем было велено не садиться — слезать, а ты едешь. Глухой, что ли? Слазь, говорят. И без тебя лошади тяжело; неловко столько везти.

К удивлению возницы, Галка даже не пошевелился и совершенно серьезно возразил:

— Нет, я никуда не слезу, пока товарища старшего лейтенанта врачам не сдам. Прямо так: из рук в руки. Как увижу, что их взяли, так и назад пойду, а без этого лучше и не думай, не проси. Они не твой командир. Ты тут только на лошади свезешь, куда сказано, а я в ответе. А вдруг на самом деле немец? Так ты думаешь, я тебе, старому, доверю? Да меня за это свои ребята на батарее пришибут, что командира кому-то отдал. Так что ты, батя, понимай, а потом, может, где сани подтолкнуть придется, а где гвардии старшего лейтенанта поднять, где поднести, того гляди, без памяти будут. Так ты что с этими калеками? Их понесешь, что ли? Этих самих, может, тянуть придется, как за дорожку-то растрясутся. Так что тут, батя, не дури! — И уже грозно крикнул на лошадь: — Эй, но, поехали!

Вознице нечего было возразить, тем более что раненые солдаты поддержали Галку. Один заметил:

— Вот это порядок. Правильно! Своего командира, особенно ранетого, никак нельзя бросать.

А второй добавил:

— И доверять другим тоже нельзя. Командира сохранять надо.

Сани дернулись и, переваливаясь со стороны на сторону, закрипели полозьями. Я лежал на них и ощущал невыразимое блаженство: мягкая солома, теплое одеяло — что могло быть прекраснее? Из этого блаженного состояния меня выводила лишь острая боль в руке да досада на то, что пришлось оставить дивизион и, очевидно, надолго ехать в тыл.

Лошадка то трусила рысью, то шла шагом, и где-то через час, а может, через два мы подъехали к штабу полка. Он помещался в уцелевшем доме сожженной деревни. Галка раскрыл меня, помог встать.

Солдаты быстро расположились в сенях, прямо на полу. Мы были в теплой избе в 5—6 км от противника. Сюда не долетали ни пули, ни мины, лишь снаряды, и то изредка. Все это уже само по себе было большим комфортом и абсолютным покоем для людей с переднего края, а потому, развалившись на полу, солдаты чувствовали себя прекрасно. Тем более что из комнаты доносились звуки патефона, играли наши любимые до войны пластинки: «Парень кудрявый», «Катюша» и «Брызги шампанского».

В комнате, куда я зашел, за столом сидела: машинистка штаба Мария Ивановна и санинструктор Лиза Козюкова. Не знаю почему, но двадцатилетнюю Машу в полку звали Марией Ивановной.

Увидев меня, девушки сразу остановили патефон.

Я крикнул им:

— Здравствуйте, девочки! Зачем музыку прекратили?

А они ко мне и в слезы. Стали, как могли, обнимать, гладить.

— Артемчик, милый, уж и тебя тоже ранило. Ой, у тебя все в крови....Тебе очень больно?

И совсем расквасились. Я на них:

— Что вы, девки, воете? Музыка ставьте, да повеселей, не на похоронах.

А они плачут и свое:

— Ой, как тебя всего побило! Больно тебе, бедному? Ты у нас последний из старых (значит, довоенных) лейтенантов остался. Мы уж думали, тебе все нипочем. А тут такое....

Я стоял на своем, и музыка возобновилась. Однако глаза у девушек оставались мокрыми. Они пытались было снять с меня полушубок, но из-за бинтов на правой руке об этом не могло быть и речи.

Меня усадили на лавку. Лиза выбежала в другую комнату, принесла большой кусок серой ваты, положила на пропитавшиеся кровью совсем сырой красный бинт и хорошо подбинтовала. Затем проверила повязку на животе.

Мария Ивановна вынула из пишущей машинки недопечатанную бумагу, свернула ее, принесла чай, развернула сахар и какое-то печенье.

Зашли офицеры. Их было очень мало. Тяжелые бои и здесь принесли опустошение. За начальника штаба остался недавно назначенный из командиров батарей начальник разведки полка старший лейтенант Сема Гомельский. За всех помощников начальника штаба был начальник химической службы старший лейтенант Ведерников, а всем делопроизводством и строевой частью заправлял наш старый довоенный писарь старшина Холявко. Было еще несколько сержантов, фельдшер да пришедший по какому-то делу начальник снабжения ветеран полка Коровин. До войны, со дня формирования полка и до начала войны, более 15 лет он был старшиной 4-й батареи.

Сема Гомельский поставил печать в удостоверение личности на звание «старший лейтенант». Мне дали поесть немного мяса, сала, сахара и печенья с маслом. Коровин дал ломтик очень вкусной корейки и луковицу. Накормили Галку и моих раненых попутчиков. Поговорили еще несколько минут, во время которых со стороны старых товарищей, а на войне так можно называть тех, с кем воюешь вместе пару месяцев, чувствовалось такое неподдельное участие, внимание и дружба, что уже это само по себе влияло на мое состояние самым благотворным образом.

Подъехала полуторка «ГАЗ-АА». Девчата засуетились, дали мне еще немножко водки, кусочек черного хлеба с салом.

Сема Гомельский с притворной строгостью напустился на них:

— Вы что нашего друга оккупировали? Небось мы с ним раньше вас знакомы. До войны еще служили, а вы без году неделю как знаете.

- А вы не будьте жадными, — шутя ответила Лиза.

На мне поправили одежду, помогли сойти с крыльца, и все начали нас провожать, говоря уйму самых хороших напутствий.

Около машины девушки опять всплакнули. По очереди поцеловали меня: и в щеки, и в губы, в общем, куда было можно, там, где не было забинтовано, даже в левую ладонь.

Между нами не было ничего, кроме чистой воинской дружбы, и, наверное, потому наши девушки так искренне и так непосредственно проявляли ко мне свои чувства.

Мне помнится, как в конце января 1942 года, недели за две-три до ранения, дней десять мне ни разу не пришлось попасть ни в дом, ни в блиндаж — все время только на холоде, только на снегу. Я весь измерз, был изнурен морозом и потому бессонницей. На голом снегу или на еловом лапнике в промокшей одежде да в тридцатиградусный мороз не уснешь. Есть было нечего, пища замерзала, В буханку хлеба надо было стрелять, чтобы расколоть и пожевать заледенелые крохи. Даже штыком не разломить было буханку. От всего этого я в какой-то мере отупел и был в довольно тяжелом состоянии.

Однажды я проходил через сожженную деревню мимо полуразрушенного, нетопленного, холодного дома. Туда несколько раньше зашел наш полковой штаб. Не весь штаб, а несколько человек, представлявших оперативную часть.

Как бы ни были тяжелы военные условия, но штабные не испытывали того, чего мы, батарейные или дивизионные стрелки.

Я зашел в дом грязный, холодный, голодный, наполовину отупевший. Увидев мое состояние, девушки, те же Маша с Лизой, схватили меня, сняли верхнюю одежду — полушубок, валенки, ватные брюки, гимнастерку — и уложили на широкую деревянную крестьянскую кровать, покрытую соломой.

Потом сами полуразделись, легли в постель, накрылись сверху и грели меня своими собственными телами. Прижались ко мне, дышали на меня. Они не стесняясь проявляли свое искреннее товарищеское и почти материнское чувство. А я в то время был настолько стеснительный, пожалуй, даже робким, что воспользовался только теплом их тела, а не тем, что они были женщинами. Хотя мне в этом, очевидно, не было бы отказано. И ничего не было бы удивительного. Такова война.

И вот теперь я думаю, что тогда именно потому, что наши отношения никогда не выходили за рамки чистой дружбы, девушки, никого не стесняясь, целовали и обнимали меня на прощанье.

Принесли носилки. Мне помогли лечь на них, укрыли. Открыли задний борт «газика», и я оказался на машине. Около меня расположились еще человек 6 раненых, полковой фельдшер, в/фельдшер 2-го ранга Жерздев и Галка.

Медленно переваливаясь на ухабах, буксуя и застревая в снегу, машина двинулась вперед. Наш полк оставался позади; мы двинулись в тыл.

Начало смеркаться. Фары не зажигали — на войне это не было принято. В воздухе работали вражеские самолеты-охотники.

Урчал мотор машины. При толчках раны давали себе знать.

Раненые одни сидели молча, другие переговаривались, трепты тихо стонали.

Галка следил, чтобы я не вывалился с носилок, чтобы не ударился, избавляя от излишней боли.

Выехали на лесную поляну. Машину остановили. Тут был медсанбат нашей дивизии или другой дивизии, очевидно, все-таки нашей. Вряд ли нас повезли бы в чужой медсанбат,

На небольшой поляне и между деревьями стояли большие санитарные палатки. Ночь была светлая, и они были отчетливо видны.

Открыли борт машины. Раненые стали потихоньку вылезать. Шофер и Галка помогали. Потом они взяли носилки и с чьей-то помощью сняли их с машины.

Я попрощался с ранеными, особенно с теми двумя, с которыми уже несколько часов провел вместе.

Носилки подняли, и меня внесли в тамбур большой санитарной палатки. Там мерцал тусклый свет то ли от коптилки, то ли от небольшой керосиновой лампы. Медленно двигались удивительные тени — это переносили раненых, или они сами ковыляли. Мои носилки поставили на пол. Галка осторожно взял у меня кобуру с пистолетом и прицепил к своему поясу. Мне оружие больше не требовалось. Полковой фельдшер вложил мне за пазуху полушубка «карточку передового района» — мой медицинский паспорт, где были все необходимые данные обо мне самом, о ранениях и оказанной медицинской помощи. После этого фельдшер вышел и через несколько минут привел местного солдата-санитара и, показав ему в мою сторону: сказал:

— Вот это гвардии старший лейтенант, командир дивизиона. Я договорился с врачом обработать его вне очереди. Как будет место свободное, сразу несите в зал на стол.

— Хорошо, так и сделаем, — сказал санитар.

Но таким тоном, что казалось будто он говорил: «Все о своих раненных заботятся больше, чем о чужих, и всем надо в первую очередь или вовсе без очереди. А нам-то все раненые одинаковы. Будет место, подойдет очередь — и внесем куда надо.

С этим он и ушел.

А наш фельдшер сказал Галке:

— Пошли, пора ехать.

Галка было стал возражать, но фельдшер как-никак был офицер. Он настаивал:

— Пора, пора ехать. Теперь твоему старшему лейтенанту все что надо и без нас сделают, а нам надо остальных раненых устроить. И уже, наверное, еще подоспели, новых везти надо.

Фельдшер снова в какой уже раз пожелал мне поправляться, несколько раз дотронулся до моего полушубка и валенок, потом до шапки. Одежда уже не было. Оно осталось в машине. В палатке было достаточно тепло.

Фельдшер потянул Галку за рукав к выходу, но он не пошел, а встал на колени, видимо, чтобы быть ко мне поближе. Подышал мне в лицо, погладил осторожно и сказал:

— Ну, вы уж там, пожалуйста, чтоб все хорошо было. Поправляйтесь, а мы подождем. Напишите нам как и где будете. Мы всей батареей почитаем и тоже о себе опишем и будем ожидать возвращения.

— Хорошо, хорошо, — пообещал я. — Обязательно напишу.

— Тут очень хорошо. Меня сейчас заберут и все будет в порядке. А ты вставай и поезжай. Ребятам скажешь, что довез меня до самых врачей. Так что в безопасности теперь.

Галка постоял еще с минуту на коленях, потом встал, что-то еще говорил вполголоса. Фельдшер взял его под руку, и они вышли.

Итак я остался лежать на носилках в тамбуре большой санитарной палатки медсанбата. Теперь уже полностью оторванный от своего полка. Мне сразу стало тоскливо, как будто оторвалась та невидимая, но всегда осязаемая ниточка, связывавшая меня с моим делом, с моими людьми, с моими боевыми друзьями, с которыми я всегда чувствовал себя как в родной семье и без которых я сразу стал совершенно одинок и почти беспомощен. Повеяло холодом, на душе стало жутко.

Так пролежал я довольно долго. Может быть, час, а может, и намного больше. Рядом со мной стояли еще двое или трое носилок: на них лежали тяжелораненые. Мимо в полумраке туда и обратно проходили люди. Одни шли сами, других вели, третьих несли на носилках.

Внутри палатки двигались более темные фигуры: серые шинели, серые в темных пятнах бинты. Обрато двигались бо-

лее светлые. Бинты на них были белые, но сами они казались более беспомощными и изнуренными после обработки ран, операций и перевязок.

Назад на своих ногах возвращалось меньше раненых, чем приходило, а на носилках выносили больше, чем вносили.

Шло время, шли мимо люди, а очередь до меня не доходила.

Ни санитарам, ни другим медикам было не до меня. Меня никто не замечал.

Судя по разговорам проходивших мимо, были еще госпитальные палатки, куда свозили раненых и где устанавливалась очередь в перевязочную и операционные.

Поток раненных был велик, и очередь, видимо, была большой, наверное, на много часов.

Я позвал проходившего мимо санитаря или фельдшера. Он обернулся и, зацепившись за мои носилки, споткнулся.

— Что вы здесь делаете? — спросил он резко и весьма не приветливо.

— Как что делаю? Ничего не делаю. Лежу, — ответил я примирительно.

— А чего вы здесь лежите? — продолжал он еще более резко.

— Жду. Жду, когда вы меня возьмете и обработаете.

Я пытался смягчить его раздражение.

— Ну что вы здесь ждете! Вы же видите, что медсанбат переполнен. Мы больше не принимаем. Неужели вы этого не понимаете?

Надо было отвечать, хотя в его словах была железная логика.

— Во-первых, я сюда не приехал, а меня привезли. Во-вторых, оттого, что я чего-либо понимаю, здоровей я не буду и переехать в другое место все равно не смогу, а в-третьих, я все же надеюсь, что вы меня приведете в порядок и отправите в госпиталь.

— Ну, вот еще придумал. Все сразу хочешь. Подождать надо, — сказал он уже мягче, но, как будто спохватившись снова стал меня «распекать»: — Да, черт тебя дернул здесь в проходе валяться. Об тебя все ноги обломаешь.

И с этими словами он ушел в глубь палатки.

Слова этого человека, призванного оказывать людям помощь, не учитывая сложившейся обстановки, могли показаться отвратительной черствостью и бездушием.

На самом же деле было не так. Эта была не черствость и бездушие к судьбе раненого бойца, а результат крайнего напряжения, бессонных ночей и безвыходности положения, в котором находился этот человек.

Он отлично все понимал, но помочь мне не мог.

Это его самого раздражало и удручало, и потому внешней грубостью и бессердечностью он скрывал свое бессилие и отчаяние.

Ведь таких, как я, были многие сотни, а их, медиков, было очень мало.

Минут через 10—15 мой случайный сварливый собеседник подошел снова.

— Вот он, — сказал он какому-то второму.

А тот, в свою очередь, как бы не замечая меня, ответил нетерпеливо:

— Ну, давай скорей, скорей!

Я почувствовал, что мне отдернули полушубок, расстегивают ватные штаны, оголяют правое бедро и пришедший тянется ко мне со шприцем.

Вдруг игла, которая была уже нацелена на меня, остановилась:

— Что ты мне ДАЕШЬ? Тут все в крови — ранение.

— Ну, подожди, — последовал ответ.

— Что подожди? — не унимался человек со шприцем. — Я-то подожду, да меня не ждут. Тут тебе не санаторий на три койки. Там можно ждать, а тут «не подожди», а давай быстрее дру- гую ногу.

— Сейчас, сейчас, — заторопился первый санитар.

Судя по этому разговору, для инъекции привел он, видимо, фельдшера, оторвав его от других раненых.

— Что это? — спросил я.

— Противостолбняковая. Надо же тебе хоть что-нибудь сделать, — ответил серьезно и убежденно санитар, который сначала показался таким бездушным.

— Не надо, — сказал я и попытался отстраниться левой рукой. — Меня уже кололи противостолбнячной. Больше не надо.

— Как вам не стыдно, — сказал человек со шприцем. Сказал он это с укоризной и даже с некоторым возмущением. — Бойтесь укула, комариного укуса. Вы... после того, как не боялись, наверное, пуль...смерти, стыдитесь.

— Да меня на самом деле уже кололи. Я не боюсь. Зачем же во второй раз. Это ведь не нужно, — упорствовал я.

А мне уже оголили место на левом бедре, и человек со шприцем продолжал свое:

— Бойтесь укола! Ай, яй, яй, а страшного столбняка не бойтесь? Ведь вам еще несколько часов придется лежать без помощи.

И с этими словами ухватил пальцами мою ногу и воткнул шприц.

— А мне на самом деле противостолбнячную уже делали. Еще вчера, — сказал я таким тоном, что колотивший меня, видимо, усумнившись в своей правоте, спросил:

— В самом деле уже кололи?

— Ну конечно. Наш санинструктор, еще вчера.

Однако, дело было сделано, и он, поднимаясь с колен и уже уходя, высказал последнее заключение по данному вопросу:

— А, ладно. Лучше перекланиться, чем недокланяться. От двух доз не умрешь, а от столбняка теперь гарантия.

На вид этому фельдшеру было лет... может 25, а может, 35. Лица в полумраке палаточного тамбура было не особенно видно, но поднимался и уходил он, как старик. Столько усталости было в его движениях и во всей фигуре.

А тот, что его привел, мой более «старый» знакомый, застегнул меня, поправил на мне полушубок, получше подоткнул шапку под голову и, отходя, каким-то надломленным и почти безнадежным тоном сказал:

— Вот видишь, может и зазря, но хоть что-нибудь сделали.

Он, видимо, тоже страшно устал, и показной грубости хватило ему совсем не надолго.

Полежав еще немного времени, я услышал шум у входа в палатку:

— Куда вы везете своих раненых? Раньше чем через 6 или 8 часов мы не можем оказать тяжелым никакой помощи. У нас ужасный наплыв раненых.

— Ну хоть двух примите. Они очень тяжелые. Как же с ними? Это же наши командиры. Нельзя же так! — умолял кого-то, очевидно, привезший этих раненых.

— Я вам сказал, — отвечал, казалось, бесстрастный голос. — Тяжелых — не можем. Легких кое-как обрабатывают са-

ми санитары. Для тяжелых не хватает ни места, ни врачей, ни хирургических сестер. Везите сразу в госпиталь.

— А вдруг не довезем, — не унимался проситель, — ведь мы привезли только двух. Уж их-то как-нибудь возьмите.

А неумолимый с порядка уже изменившимся голосом с досадой продолжал:

— Эх, если бы вас самих было только двое, а то ведь каждые 10 минут вот так же, как и вы, кто-нибудь просит, да еще угрожают кто чем: кто кулаками, кто пистолетом, а кто и трибуналом. Конечно, же, все понимают, что промедление с помощью — смерть. Вот и хотят своих людей быстрее на операционный стол устроить. Да ведь столов от этого не прибавляется.

— Ну, ведь, может, только наших, а уж мы сами посмотрим, чтобы больше никого не привозили, а то ведь умереть могут — они тяжелые.

Просивший буквально молил, сам чуть не плача.

— Кабы была моя воля, а то ведь я не один, сам не решаю, — сказал он уже почти доверительно и продолжал: — Так что вот мой совет: забирайте своих тяжелых и везите в армейский госпиталь. Так должно быть попроще. Там дело вернее.

— Ну что же: ехать, так ехать. Поедем до госпиталя.

В это время я услышал голос моего Галки:

— Так они, может, и нашего старшего лейтенанта еще не перевязали. Пойду поищу их, а то чего доброго лежат без помощи.

С этими словами он вскочил в тамбур палатки и вбежал в операционный зал, проскочив мимо меня.

В палатке было шумно, и я не мог услышать, что там говорили. Через пару минут Галка снова показался, держа в руках металлическую шину, которую прихватил в полатке. Он нашел меня, нагнулся и спросил:

— Товарищ старший лейтенант, ну как ваши дела, болит не очень?

Что мне было ответить?

— Все в порядке, побаливает немножко, да ничего.

— Я сейчас за вами. Мы в госпиталь поедем.

С этими словами он вышел, и было слышно, как с большим удовлетворением говорил:

— Вот не зря я сказал, что мне надо снова сюда ехать. Конечно, здесь наш командир. Лежат, где мы их оставили. Идемте

за ними... — И, уже входя, закончил: — Я как чувствовал и не хотел отсюда ехать, пока сам не увижу, что все в порядке.

И, обращаясь к своему спутнику, продолжал:

— Вот они лежат. И все как было. Давайте мы им шину на руке прикрутим, а то у них там палка привязана.

Галка приехал с фельдшером.

Фельдшер быстро согнул, где надо было, шину, и крепко прибинтовал к правой руке. Они вместе подняли мои носилки и стали выносить на улицу.

Уже на ходу Галка продолжал убежденно доказывать фельдшеру:

— Я же не потому здесь хотел быть, что на НП боюсь. Нет, я за командира боюсь. Их надо прямо врачу в руки отдать и еще посмотреть, чтобы врачи начали все делать. Только так.

В кузове полуторки, куда подняли мои носилки, стояло еще двое носилок и находилось еще человек десять не носилочных раненых, которые то ли сами, то ли по рекомендации фельдшера решили, не оставаясь в медсанбате, сразу ехать в полевой госпиталь, где можно было получить быстрее более полную медицинскую помощь.

Среди раненых я узнал несколько знакомых солдат.

Стало веселее — не один буду в госпитале.

Тех, что лежали на носилках, узнать было трудно. На улице было темно, да еще у одного из-под бинтов, покрывавших голову, был виден лишь один глаз, маленький кусочек лица и место, где находилось отверстие для дыхания. Дышал он с шипением и свистом, тяжело и неровно.

Второй раненый лежал на носилках с неподвижным лицом, обращенным вверх, и иногда хлопал глазами.

Естественно, я захотел узнать, кто это, но оба оказались незнакомыми мне людьми.

Мы ехали без света по ухабам и неровностям фронтовой дороги. Кое-где буксовали.

Легкораненые вылезали из кузова, как могли. Выталкивали машину и она, снова раскачиваясь и переваливаясь, шла вперед

Через час, а может быть, и больше мы въехали в почти уцелевший лесной хутор.

Машина остановилась.

Фельдшер, сидевший рядом с водителем, пошел, очевидно, в приемное отделение узнать, куда определить раненных.

Когда носилки снимали с машины, были видны освещенные луной крестьянские дворы, рубленые дома со слуховыми окнами под дранковой крышей и длинные сараи, покрытые соломой.

Между деревьями виднелись силуэты больших санитарных палаток.

Ходячие раненные куда-то ушли. Их, очевидно, увели в приемное отделение.

Куда-то, наверное, тоже в приемное отделение, унесли двух моих носилочных попутчиков и меня тоже понесли.

В медсанбате меня не кормили. Времени прошло много, и я почувствовал, что аппетит мой разыгрался не на шутку.

Но делать было нечего. Сначала хирург потом повар. Меня занесли в большую палатку приемного отделения. Фельдшер попытался сдать меня без очереди дежурной медсестре. Та зашикала на него:

— Не видите, сколько раненных дожидаются? Подождите со своим. И вообще вам здесь делать нечего. Привезли — и уезжайте за другими. А с этими теперь наша забота.

— Да я было уже один раз уехал из медсанбата, — оправдывался наш фельдшер, — так мой командир там без помощи и пролежал, пока я еще раз туда приехал и вот вам его привез. Как же я его теперь снова оставлю? Неровен час, еще заражение начнется, пока ваша очередь подойдет. Да вы, милочка, нашего командира хоть запишите да скажите, куда ему дальше положено.

— Да-да, это нам очень нужно, — настоятельно прибавил фельдшер. — Зарегистрируйте, пожалуйста.

Сестра кивнула сидевшему за столом санитару, и тот стал записывать меня в толстый гроссбух, задавал при этом нашему фельдшеру кучу вопросов.

Записывалось все по порядку: что-то в строчки, что-то в колонки, сделали какую-то пометку в «карточке передового района», а потом все вместе начали меня раздевать.

Проще всего снимались шапка и валенки. В первую же очередь надо было снять полушубок, но на руке было уже столько набинтовано ваты и бинтов, что сделать этого, не нарушив целостности рукава, было невозможно.

Отмотали немного бинтов — тех, что держали верхние слои ваты и металлическую шину, которую в медсанбате утащил или одолжил, а может быть, выпросил Галка. Теперь уже метод приобретения этой металлической шины установить не удастся. Тем более в этом и надобности-то особой нет.

Убрали сколько было можно пропитанной кровью ваты, оглядели со всех сторон правый рукав.

Санитар взял острый хирургический нож и разрезал рукав до самого локтя.

После этого из целого рукава вытащили левую руку и осторожно стали стаскивать полусубок с правой.

Когда мех рукава проходил над разбитой кистью, было больно. Но на то и рана, чтобы болела.

В общем, за минуту все было сделано.

Потом распустили правый рукав гимнастерки и двух настоящих рубах, верхняя из которых была обычная, табельная из фланели. Она была когда-то белая. Нижняя рубаха была коричневая из шелкового трикотажа — «противовошная». Было принято считать, что на шелке вошь не держится, скатывается. Поэтому мы старались доставать дополнительно шелковое казенное белье.

Сколь шелковое белье неприятно для насекомых, сказать, конечно, трудно, однако мне, например, носить шелковое белье было весьма приятно.

Посмотрели повязку на бедре и на левом локте. Мне очень надоело лежать на носилках, да, кроме того, отлично зная, что под лежащий камень вода не течет, я решил слезть с носилок и по возможности действовать,

Кое-как с помощью Галки и фельдшера встал с носилок. Правая рука сильно болела, в ноге ощущалась тупая боль, а левый локоть побаливал лишь чуть-чуть.

Постоял, прошелся под неодобрительным взглядом санитаря по палатке и попросил его показать, где операционная. Санитар на это весьма резко и недовольно буркнул:

— А зачем вам знать, где операционная? Когда ваша очередь подойдет, сами отведем.

Но попробуй ждать, пока «ваша очередь подойдет»! Раны болят, и время идет. А время работало тогда явно против меня.

И если тогда еще можно было все привести в порядок, то потом может уже быть безвозвратно поздно.

Тогда Галка сам вышел на улицу и разузнал, где операционная или перевязочная палатка. Как она официально называлась, я не узнавал. Нас интересовала суть дела, а не название. Потом он быстро собрал носилки и отнес их обратно в машину.

Было ясно, что без этих носилок я тут обойдусь. Если будет надо, в госпитале дадут другие, а полковой службе терять такое дефицитное имущество никак не следовало.

Когда все это было сделано, Галка вернулся и, взяв меня под руки вместе с фельдшером, помог выйти на улицу.

По неширокой дорожке, протоптанной в снегу сотнями ног, мы прошли немного вдоль опушки леса и зашли в другую палатку. Даже тамбур этой палатки был завешан белыми чистыми простынями. Во внутреннем конце тамбура навстречу нам с лавки поднялся угрюмый санитар.

— Вам куда? — сказал он весьма неприветливо и с таким видом, будто хотел гаркнуть: «Куда прешь, чумазый?» — Здесь только «чистых» берут.

Это, очевидно, надо было понимать так, что сюда приводят раненых толи уже без верхней одежды, то ли уже вымытых или после первичной обработки. Ни тому, ни другому, ни третьему, я, конечно, не соответствовал, и вставший санитар, загораживая вход из тамбура в саму палатку, настойчиво повторил:

— Сюда нельзя, вам сказано!

Он, этот санитар, был стражем порядка и жизненно необходимой элементарной госпитальной гигиены. Но что нам-то было до этого! Нам необходимо было как раз все наоборот.

Наш фельдшер вплотную подошел к неумолимому стражу порядка и голосом, которому придал большую значимость и таинственность, полушепотом обратился к санитару:

— Сказали... — Он по-особому сложив губы, положив нижнюю на верхнюю и приподняв лицо, оттопыренным большим пальцем показал себе через плечо на выход из палатки. Этот жест означал, что сказали там, куда он показал, вне палатки, где, очевидно, большое начальство, а поднятое лицо со сложенными губами должно было придавать больший вес сказанному. Он повторил: — Сказали обработать немедленно, в первую очередь. Это очень важный человек...

## **В вашем положении плакать надо, а вы смеетесь**

Пока санитар слушал, широко раскрыв глаза, приоткрыв рот и пытаясь разобраться в произносимом, Галка протащил меня мимо него и втолкнул внутрь палатки,

Внутри сразу блеснули яркий свет хороших, видимо, еще довоенных керосиновых ламп «молния» и белизна стен.

За входом послышались шум и ругань санитаря. Он понял, конечно, что его провели, и возмущался, как всякий порядочный служащий, при котором нарушен им же охраняемый порядок.

Я тут же двинулся вдоль стенки палатки и быстро убрался в противоположный угол, где уселся на брезент, покрывавший еловый лапник, положенный с целью теплоизоляции на замершую землю.

Тут я был в безопасности. От входа меня не было видно, а разыскать человека в операционной палатке, мешая этим работе хирургов, санитар, конечно, не мог решиться, тем более что для этого надо было оставить свой пост у входной двери без присмотра. Один человек уже и при нем прорвался, а без него целый взвод ворвется. Поди выгони их тогда из палатки!

Как бы там ни было, санитар за мной не пошел, но и Галка с фельдшером проникнуть в палатку тоже не смогли.

Я облокотился спиной о какую-то стойку и осмотрелся. В палатке стояли четыре операционных стола. На столах лежали раненые. Над ними склонились люди в белых халатах.

Они работали сосредоточенно, говорили изредка, вполголоса. Лежащие на столах иногда вскрикивали, иногда стонали, а некоторые лежали неподвижно и ни на что не реагировали. Зато около таких и людей в белом было больше, и разговаривали они между собой чаще и резче.

Через стол лицом ко мне в белом халате, казалось, совсем новом, накрахмаленном, но уже изрядно забрызганном кровью работала молодая женщина невысокого роста. Лет ей на вид можно было дать 25 или 27, не более.

Ее приятное, кругленькое светлое лицо с убранными под косынку волосами казалось совсем свежим, чистеньким и очень привлекательным. В нем чувствовались мягкость и вместе с тем жизнерадостность и оптимизм.

Работала она быстро, четко и, казалось, легко. На раненых смотрела внимательно, ласково. Разговаривала серьезно, немного насмешливо.

В общем, мне она сразу понравилась, и я решил, что пойду обязательно к ней.

Хорошо сказать: «Пойду», а как она меня примет? К каждому столу была своя очередь, которую очень ревностно поддерживали санитары.

Пройти самому, без очереди было невозможно. Только сам хирург или санитар могли, очевидно, нарушить установленный порядок. О санитарях и думать было нечего, а на хирурга можно было возложить кое-какие надежды.

Из своего угла я стал смотреть на эту приятную женщину. Мне нравилось, как она работала, да не только, как она работала, но и какой она была сама.

Я смотрел, видимо, так пристально; что она это почувствовала и заметила меня.

Я ей улыбнулся искренне, от всей души, и когда наши глаза встретились, на ее лице сначала можно было прочесть неожиданное удивление, а потом и она слегка улыбнулась, но быстро отвела глаза и продолжала свою работу.

Я пристально глядел на нее и улыбался.

Она время от времени поднимала на меня глаза, и на ее лице, несколько удивленном, появилась на мгновение едва заметная и, очевидно, только мне веселая улыбка.

Так продолжалось долго, наверное, час или даже больше.

Несколько раз меняли раненых. Одного забирали, другого сразу клали, как на конвейере.

Она все чаще поглядывала в мой угол. Удивление или недоумение на ее лице сменилось любопытством и каким-то дружеским участием. Мое положение было ей, конечно, вполне понятно.

После того как она в очередной раз бросила инструмент, и с ее стала санитар начал забирать раненого, она вдруг отошла от стола и быстро направилась в мой угол.

— Молодой человек, — обратилась она тихим голосом, показавшимся мне очень приятным, — в вашем положении плакать нужно, а вы смеетесь. Ну чему вы радуетесь?

— Как чему радуюсь, — начал я весьма бодро. — Тому, что живу на белом свете, тому, что жизнь хороша, тому, что вас

увидел, тому, что у меня все так хорошо складывается. А вы — «плакать надо!» Пусть кому охота сами плачут, а я себя оплакивать не стану,

— Эх, ты парень веселый, — перешла она на «ты», — но все-таки тебе поплакать, наверное, придется.

— Нет, не заплачу, а то проплачу все царствие небесное, повеселиться не успею да и к вам на стол опоздаю. А так вы меня сейчас к себе возьмете, и все у меня приведете в порядок.

— Доктор, раненый готов, — подошел санитар.

— Ну, подойди, бедняжка, — сказала она тихонько и повернулась к своему столу.

— Да только я не бедняжка, наоборот.

Она снова улыбнулась и очень мягко сказала:

— Да уж ладно тебе. Разбинтуй пока руку, чтобы нам времени не терять. Как увидишь, что я заканчиваю, так сам подходи.

Она было совсем собралась отойти, но еще раз окинув меня взглядом с дружеским участием добавила:

— Боже, какой же ты грязный, весь кровью залит. Ну, давай разбинтовывайся.— И пошла к своему столу.

А я сбросил на брезент накиннутый полушубок, снял меховой жилет, спереди сильно испачканный кровью, аккуратно стянул с себя зеленую саржевую гимнастерку с разрезанным рукавом, с дырочками от пуль. В ее зеленых матерчатых петличках были по два зеленых лейтенантских кубика, еще довоенные артиллерийские эмблемы — пушечки. Третьих кубиков, соответствующих моему новому званию старший лейтенант, у меня не было. Тогда они были дефицитны, а вышить знаки различия нитками до ранений я не успел.

Правый, разрезанный почти до локтя рукав был промочен кровью.

На месте левого локтя была дырочка и засохло большое кровавое пятно. Перед гимнастерки я тоже замарал кровью, и лишь две дырочки справа от пули, попавшей в бедро, были чистыми — кальсоны и ватные брюки не пропустили кровь. Нательные рубашки снимать не стал. Правый рукав был разрезан до локтя и не мешал, а левый я просто не мог засучить.

Плохо действовавшими пальцами левой руки, которая изрядно побаливала в локте, начал отматывать бинты с правой кисти.

Кровь, пропитавшая бинт со стороны раны, стала понемногу подсыхать. Бинты слиплись, и, отделяя их, я причинял себе немалую боль.

Чем меньше оставалось бинтов, чем ближе к ране, тем труднее становилось отматывать бинт, было все больнее и больнее.

Наконец рука стала постепенно оголяться, и приятная, очень приятная свежесть сразу ощутилась на открываемом месте.

За этим занятием я время от времени посматривал на «моего» врача и улыбался.

Она тоже иногда поднимала на меня глаза, и в ее понимающем взгляде светилась одному мне заметная улыбка.

Казалось, что между нами установился внутренний контакт и мы участники незримого заговора.

Во мне возникло чувство не только симпатии, но и дружбы к этой женщине. О том же говорил и ее взгляд, который напоминал иногда не взгляд женщины, держащей в своих руках под острым ножом жизнь человека, а взгляд, казалось бы, шаловливой девочки-подростка или совсем молоденькой девушки.

Слипшиеся бинты уже приходилось разделять над самой раной, Это было очень больно.

Чтобы было легче, я делал это очень медленно, но все равно лоб начала покрывать испарина, а левая ладонь стала мокрой от пота.

Открывалась распухшая и потерявшая обычную форму кисть правой руки.

Наконец дело дошло до самой раны. На ней лежал двойной тампон от индивидуального пакета.

Я потянул, и на тампоне стал появляться отпечаток раны вместе с маленькими кусочками, которые приклеились к бинту, тащились за ним и отрывались от самой раны. Стало очень больно и тяжело, почти невыносимо.

Казалось, я тащил не легко отдираемый бинт, а какую-то очень тяжелую, накрепко приклеенную ткань, для отделения которой нужно было большое физическое усилие.

Я взглянул на врача. Она понимающе ответила, на мой взгляд, и печально кивнула. Дескать: «Я знаю, каково тебе, но что же делать? Продолжай».

И я дальше и дальше открывал развороченную кисть руки.

Рана была большая. Как потом определили, 8 см в длину и 5 в ширину. На вздувшейся кисти края раны были припухлыми и округлились, а в самой ране была какая-то мешанина, и из нее струйками текла кровь.

Полусогнутые пальцы руки были безжизненны и неподвижны. В общем, это была картина, которая совершенно не стимулировала ни оптимизм, ни хорошее настроение. Казалось, скорее, вызывала тоску и безнадежную удрученность. С каждым мгновением казалось, что отдирать бинт становилось физически тяжелее.

Каждый миллиметр прилипшего бинта вызывал острую боль и своеобразное ощущение — будто что-то живое тащат из глубины тела.

Казалось, не приклеившийся бинт отрывает с поверхности разрушенных тканей живые кусочки, а будто бы тянет из глубины кисти, а она тянет за собой из всей руки, из локтя, из плеча и будто бы чуть ли не из пупка. Тяжело. Однако терпеть было можно. Бинт медленно отделялся и открывал кисть.

От уровня третьего пальца, где начиналась рана, бинт уже открыл рану до продолжения большого пальца, где кончается кисть и начинаются длинные локтевая и лучевая кости...

Резко и тонко ударило в голову. В глазах блеснуло. Комок бинта выскочил из левой руки.

«По мозгам ударило», — мелькнуло это несколько неблагоприятное выражение, но оно было как нельзя более характерно для ощущения поразившего меня в тот момент.

Снова взял в левую руку конец бинта, попробовал потянуть, но все повторилось, как прежде.

От резкой боли я вздрогнул и закрыл глаза.

«Это нерв, — решил я. — Я тяну за свой собственный нерв. Так вот что такое — «давать по мозгам» и «тянуть жилы».

Третья попытка окончательно сорвать бинт привела к тем же ощущениям и была так же безрезультатна.

Когда зубной врач попадает бором на открытый нерв, даже тогда не так ужасно. Там тебя сверлит другой. У него рука не чувствует ошеломляющей тебя боли, а работает. Но тут действует своя рука. Она парализуется и не в состоянии продолжать. Пальцы непроизвольно разнимаются и выпускают бинт, и происходит это не от твоей слабости, а от колоссальной силы воздействия, которая оказывается сильнее тебя самого. Страшное

ощущение проходило быстро, но, наверное, отражалось на моем лице. Когда я снова открыл и поднял глаза, женщина хирург, видимо, поняла мое состояние. На ее лице показалось сочувственное понимание, и она отрицательно покачала головой.

Было ясно. Она говорила, что попытки надо прекратить. Она сама оторвет бинт. Я больше не трогал приклеившийся тампон. Снятие бинта утомило меня. Я почувствовал сильную усталость и снова прилег на брезент.

Обработка очередного раненого закончилась. Врач, закрыв на мгновение глаза, утвердительно кивнула мне, а затем отрицательным жестом дала понять санитару, что очередного раненого не надо, и подошла ко мне.

— Ну, пойдем оптимист, посмотрим, что там у тебя. Пойдем, пойдем! — Сам голос ее, мягкий и ласковый, казалось, мог вылечить или, во всяком случае, утолял боль.

Я подошел к высокому и узкому операционному столу. Она показала мне на белый стул, стоящий рядом. Я сел.

— Ну, показывай, что там у тебя приключилось?

Осторожно, чтобы не причинить лишней боли и не зацепить ни за что бинтом левой рукой, правую положил на стол.

— А противостолбнячную тебе делали? — спросила она меня.

— Уже три раза.

— То есть как три раза. Зачем? — спросила она недоуменно.

— Так. Мне в карточке передового района наш фельдшер не отметил в первый раз. Потом в медсанбате воткнули. Там мне больше ничего не делали и тоже не отметили. А здесь в приемнике вашем снова укололи. В медсанбате и в вашем приемнике я пробовал возражать — и слушать не стали, воткнули. А вот если бы вы в четвертый раз меня колоть захотели, я бы даже не сознался, что уже кололи.

— А это почему? — посмотрела она на меня вопросительно. — Как понимать?

— Да как вам сказать... Как хотите, так и понимайте. Я думаю, в ваших руках и игла должна ласкать.

— Ах ты, подхалимчик ты эдакий! Ты что это говоришь?

— Истинную правду говорю, Мне же лучше знать. Ведь меня кололи.

— Ну ладно. Вот тебе и на. Здорово получается. Записать забывают, а все колют. Безобразие!

Я возразил:

— Зато теперь всех столбняков накрыло с тройным перекрытием, и они мне больше не страшны. Теперь не мне от них прививки надо, а им от меня. У меня теперь с гарантией.

— Ах ты, оптимистик ты мой, оптимистик. Все тебе шуточки.

— А у нас в роду, как мне покойная бабушка говорила, нытиков не было. Мы все такие.

— Ну, коли все такие, давай показывай, что с тобой наделали.

Я показал взглядом на руку лежащую на белой клеенке, которой был покрыт стол.

— Это я вижу, а с локтем левым что?

— Так, ерунда. Позавчера пуля воткнулась.

— Все у тебя ерунда. Три противостолбнячных сделали — ерунда. Пуля воткнулась — ерунда.

— Да в самом деле ерунда! На излете. Я ее сам вытащил и бросил.

— А может быть, у тебя еще что-нибудь, есть? — сказала она вопросительно и удивленно.

— Бедро прострелено. Это позавчера днем. Но это тоже ничего. Навылет. Завязали. Я еще день воевал

— Господи, господи. Да какой же ты... — зашептала она удивленно.

— Как все. Солдат.

— Нет, не все такие. Все-то тебе ерунда, все нипочем. Чего же тебе еще надо? Ведь едва жив.

— Как это едва жив? — запротестовал я. — Я совсем жив. Только побит немного. С вашей помощью месяц-два подремонтируюсь и опять, как новый, воевать начну.

— Новый, новый, — покачала она головой, — да со старыми заплатами.

— А что? Другая заплата крепче целого держится.

— Ну, давай посмотрим, куда заплаты ставить, что латать будем.

Она взяла меня за левую руку. Взяла мягко. Казалось, даже нежно. Разбинтовала локоть. Бинт бросила на никелированный подносик. Затем взялась за тампон. Когда отдирала его от ранки, стало немного больно, но прикосновения этой ласковой милой женщины были настолько приятны, что я был готов, чтобы она снимала повязки с десяти таких ранок, как эта.

Когда отдиралась марля от ранки на левом локте, я улыбнулся, но непроизвольно сморщил нос. В общем, получился смех сквозь слезы.

Она это поняла и нежно погладила меня по руке. Ох, как это было приятно! Затем обмыла ранку, ощупала, осторожно всунула в нее стеклянный стерженек миллиметра три в диаметре с маленькой шишечкой на конце. Это был зонд, которым она, очевидно, промеряла глубину ранки,

Пройдя сантиметра 2-3, зонд уперся. Вот и вся глубина.

Ощущение было, конечно, неприятное, на лбу выступил пот, и нос непроизвольно морщился.

— Ну, еще чуть-чуть, Секундочку. Сейчас кончу... — И вынула свою стеклянную палочку. — Да, тут действительно ничего опасного, — сказала она, глядя на ранку. — Сейчас помою, смажу и завяжу,

Кусочком марли, взятым пинцетом, смочила перекисью водорода и хорошо протерла вокруг ранки. Затем новым кусочком марли пару раз промокнула ранку, помазала вокруг, приложила марлевую салфетку с какой-то мазью, оклеила сверху кусочком марли, сложенным вдвое, и туго перевязала бинтом.

— Вот, на первую дырочку латочку наложили, — сказала она ласково. — Показывай вторую.

Левой, только что перевязанной рукой я показал на правое бедро.

— Ну, вставай! Я тебе помогу.

Она помогла мне подняться и стала расстегивать толстые ватные штаны, перепачканные грязью и кровью с большим масляным пятном на правом боку.

Недели три назад я получил очередной недельный офицерский доппаек — граммов 400 сливочного масла, завернутого в газетную бумагу. Был сильный мороз. Масло было твердое, и я положил его в карман, брюк. Но затем масло понемногу размякло и приняло форму кармана. А я в горячке боевых дел забыл про него. Ночью спал прямо на улице, около жаркого костра. От моего ДП одна бумажка осталась, да большое жирное пятно насквозь от ноги до верхнего зеленого материала ватных брюк.

Врач опустила эти самые ватные штаны, расстегнула совсем серые, а с правой стороны бурые от крови кальсоны. Мне, конечно, было очень неудобно. А она совсем по дружески говорила:

— Ничего, ничего, я же врач, а ты больной...— И опустила все мое вещевое имущество ниже колен, прямо на валенки.

Снова, как накануне, в штабе полка, тело обдал приятный холодок.

Чувствовался запах давно немывтого, пропотевшего, много раз промокавшего, пропитанного кровью белья.

Врач разбинтовала мне бедро, перевязанное через поясницу, помыла тело, обмыла ранки, осмотрела их, заклеила, забинтовала и успокаивающе сказала:

— Снаружи ранки хорошие. Должны бы зажить через несколько дней. А вот что там внутри, сказать трудно. Но будем надеяться на то, что ничего важного пуля не повредила. Будем надеяться. Скажи, какое ощущение дает это ранение? Как там внутри: горит, режет, булькает или просто болит?

Я ответил:

— Внутри просто никак. Не болит, не горит. Только общая тяжесть в правой стороне без острых ощущений. Мне кажется, пуля была умная и все важное обошла мимо.

— Ну, ты опять за свои шуточки.

— Нет, я на самом деле. Чего же жаловаться на то, чего нет.

— Если так, то будем надеяться, что и это ранение быстро заживет. Недели две — и следа не останется, коли правда все так спокойно внутри. Значит рука будет нашим главным делом.

— Да, я из-за руки и ушел из дивизиона. Я командир дивизиона, а мне оставить за себя было некого. После правой руки я уже воевать не мог, стал плохо чувствовать.

— А с локтем и бедром мог?

— Да, вполне мог. Я же два дня с локтем и с бедром воевал, а из-за руки сразу пришлось уходить.

— Господи, бедняжка ты мой. Выходит, даже раненому нельзя уходить.

— Нет, на самом же деле, в дивизионе командиров раньше перебили, а новеньких еще не дали. Когда я ушел, управлять огнем стало на самом деле некому. Но я уже тоже не мог. А то бы не ушел. Ведь немцев-то бить надо.

— Ой, ну как же ты так? А вдруг сепсис, заражение, а там гангрена?

— Во-первых, никакого заражения у меня быть не должно. Эта дрянь меня не одолеет. А во-вторых, это же у меня у одного

может случиться, а я за эти два дня немцев, наверное, пару десятков побил. Так что игра стоит свеч, правда?

— А мне бы именно эту свечу было бы очень жаль, — сказала она серьезно и на мгновение задумалась.

— Спасибо на добром слове... — начал было я говорить.

Но где-то на середине фразы, на полуслове меня тряхнуло электрическим током. В глазах блеснуло, и показались острые голубые лучи, вздрогнули и беспорядочно дернулись все мышцы, показалось, что заскрежетали зубы. В общем, дернуло и затрясло не какую-то часть тела или орган, а весь организм.

Это продолжалось мгновение, и ощущения начали быстро спадать,

Я попытался что-то сказать, но звука не получилось, только беспорядочно зашлепал губами.

Хотел посмотреть на врача, но почувствовал, как ее теплые, мягкие губы прижались к моему лбу.

— Миленький, вот и все. Больше так не будет.

Несмотря на почти шоковое состояние, в котором я на тот момент находился, мне показалось, что сказала она это не просто так, а с большим чувством.

Повязки на руке больше не было.

Врач внимательно смотрела на большую рану и покачивала головой.

Затем обмыла вокруг руку, обмыла края раны, промокнула ее марлевой салфеткой, еще посмотрела, взяла стеклянную палочку, что-то потрогала, пошевелила, затем что-то делала металлическим инструментом и все больше и больше качала головой.

Теперь мне не нравилось ее лицо. Вернее, само лицо было по-прежнему очень милым, но выражение было напряженное, озабоченное и даже скорбное. В нем не светилось более ни капли оптимизма.

Она молча выпрямилась, отошла к другому операционному столу, где работал мужчина, несколько старше ее по виду. Он как раз закончил обрабатывать раненного. Стала ему говорить, немного разводя при этом руками.

Поговорив с минуту, они вместе подошли ко мне.

Мужчина внимательно осмотрел руку, попробовал пальцы, потрогал рану металлическим инструментом, и они снова отошли.

Немного повернув голову, я увидел, как, наложив нижнюю губу на верхнюю, покачивая головой и разведя слегка руками, он, очевидно, дал понять, что бессилён.

Мне стало ясно, что на этой маленькой консультации мои дела признаны плохими.

С видом боли на лице, как-то согнувшись, подошла ко мне «моя врачиха» и участливо, почти с отчаянием стала говорить:

— Бедненький ты мой. Очень сильное повреждение. Кисть оставлять опасно.

Во мне сразу поднялся протест. Боль в руке, изнурение тяжёлых последних бессонных дней — все отлетело в сторону. Забурлила внутренняя энергия.

— Нет! Я воевать буду. Я немцев бить буду, пока они на моей земле.

Зубы застучали, как при ознобе. Тело охватила мелкая дрожь.

Это не было ни страхом, ни горем, ни подавленностью. Тело дрожало от напряжения, от внутренней силы, от внезапно пробудившейся энергии и протеста.

— Нет! Я солдат. А без руки я воевать не смогу. Меня не пустят снова воевать. А я хочу убивать немцев, я хочу воевать хочу бить, хочу стрелять. А без правой руки я не солдат. Рано мне в отставку, рано в инвалиды.

Это не было ни рисовкой, ни бравадой. Это чувства, охватившие меня в тот тяжёлый и ответственный момент, вырвались наружу.

Затем каким-то сникшим, сиплым голосом с просьбой и надеждой я сказал:

— А может быть, хоть что-нибудь можно сделать, хоть что-нибудь?

Она отрицательно покачала головой.

— Милый, для этого нужен бог, а я ведь окончила всего три курса.

— Знаешь что? — Дрожь прошла, и я сказал это уже снова твердым голосом, почему-то обратившись на «ты». — До бога высоко, а немцы под Москвой, в Юхнове. Самим надо что-либо делать. Давай придумывать.

— Да, я не о том боге тебе говорила. Это у нас в институте до войны профессор был. Это он наш бог. Он все может. А что я? Да и мои коллеги тоже. Кто три, кто четыре курса кончил. На

вас беднягах доучиваемся, и совершенствуемся. А что поделаешь? Опытных хирургов не хватает.

— Тогда вот что, — начал я решительно и твердо. — Сделай, что можешь. Обработай, насколько возможно. Если надо — мучай, сколько хочешь. Я ничего не боюсь, но солдатом все равно буду.

— А вдруг сепсис, — сказала, она будто, робея.

— Так вот! Солдатом я буду, а дармоедом, иждивенцем все равно не буду.

В то время я ничего не представлял себе помимо войны, помимо боя. Я не пытался и даже не хотел себе представить, что сотни тысяч инвалидов, только оправившись, включались в посильную для них напряженную работу, а некоторые даже возвращались на фронт.

Тогда, думая о своей жизни (а задуматься об этом сразу пришлось), я решительно предлагал:

— В общем, или да, или нет. Третьего не будет. Но я все равно поправлюсь. Ты же понимаешь: в 20 лет — инвалид! Да что там. Все равно поправлюсь и, поверь, еще правым кулаком буду фашистам головы разбивать. Им же назло.

Получилось так, что сами обстоятельства, в которые я попал, заставили меня взять инициативу в свои руки и диктовать.

— Ну что же, попробую. Почисти как следует рану, обработаю и завяжу. Может, где дальше сумеют что-либо сделать. Рану я как следует простерилизую.

Я был сильно возбужден. Это возбуждение поддерживало меня. Я не мог молчать и продолжал:

— А я хоть 10 госпиталей проеду, но все равно поправлюсь и руку нигде не оставлю. Все равно с ней обратно на войну вернусь.

Она стала возиться с моей кистью. Ощущение от этого было тяжелое. Когда внутри раны пинцет охватывал кость, сразу подташнивало. Странно! Берут за кость на руке, а отдается в желудке. Когда обрабатывались поверхность раны и ее края, то у верхней части раны чувствовалась острая боль впиивающихся иголок, а когда касались нижней части раны, ближе к пальцам, — никакой остроты не чувствовалось. Казалось, что имеют дело не с моим живым телом, а с резиной. И я ощущал, как возятся с этой резиной, как ее прокалывают или режут.

Чтобы отвлечь мое внимание от болевых ощущений, врач разговаривала со мной:

— А где ты в школе учился?

Я охотно отвечал:

— В Москве, на 2-м Обиденском переулке в 32-й школе, а в 10-м классе во 2-й артиллерийской спецшколе. Она около зоопарка была.

— А когда окончил?

— В 1938 году.

— И я тоже в 1938 году, — как будто обрадовалась она.

«Вот те раз! — подумал я. — Закончила вместе со мной, а на вид намного старше».

— А сколько тебе лет? — задал я вопрос, с которым обращаться к женщинам, кажется, совсем не уचितо.

Но что поделаешь — молодость, война, да и мое положение в тот момент... О корректности или приличии я не подумал, да и она не смутилась, не зажеманничала, а просто и непосредственно ответила:

— Двадцать один.

— Да ну? — удивившись, я ляпнул еще большую бестактность. — А я думал, что больше — лет 26—27.

Но она очень просто и немного печально, сочтя, очевидно, мои слова вполне естественными, ответила:

— Здесь работа не молодежит. Хорошо, что пока еще сорока не дают. Все может быть.

— А ты где училась? — начал спрашивать я.

— В Замоскворечье, а потом во 2-м Московском мединституте. Но я уже сказала. Всего три курса. Теперь доучиваюсь на живых людях... — И, чуть задержавшись, печально добавила: — А от этого иногда бывает так тяжело.

— Тем, кого лечишь? — зачем-то вставил я.

Но она так же просто и печально продолжала:

— Они, может, и не догадываются. Думают, что так и надо. А вот я все понимаю, и иногда хочется плакать, кричать, убежать от этого стола, быть медсестрой, а не хирургом. Но нельзя. Ни того, ни другого, ни третьего.

— Какая ты хорошая! — сказал я, даже не подумав. Просто сами чувства выразил в слух.

— Ах, да что там «хорошая»! — возразила она с сожалением. — Если бы я только умела все делать так, как нужно.

— Да ты и так делаешь все так, как нужно, — пытался подбадривать я. — И еще лучше, чем другие. А потом научишься совсем хорошо.

— Какой там «как нужно», — не соглашалась она. — Да и учусь-то на живых людях. На жизни, на здорovie...

И сказала это она так печально, с отчаянием, что я не выдержал, чтобы не успокоить:

— Ну, не горюй, не печалься. Все будет хорошо.

— Да ты что? — посмотрела она с удивлением мне в глаза. — Никак сам меня успокаивать взялся? Бедный! Милый!

— А я не бедный, — сказал я упрямо.

— Ну, вот я и заканчиваю, — сказала она.

Обернула в последний раз бинт вокруг руки, сделала маленький узелок и обрезала ножницами белые кончики. Затем салфеткой вытерла мне пот со лба, погладив при этой ладонью по лицу, и помогла подняться на ноги. Вместе с девушкой-санитаркой помогла одеться, застегнула и повела к выходу.

Когда вышли в тамбур палатки, сказала санитарке:

— Проводишь в домик. Иди вперед, сейчас догоню.

Санитарка вышла.

— Спасибо тебе, спасибо, — говорил я от души.

— Какое там спасибо! За что? Я ведь, по существу, ничего не сделала. Только очистила и перебинтовала. Если будут у тебя силы, постарайся быстрее добраться до Москвы. Там, может, кто-нибудь сумеет помочь. А в полевых госпиталях мало надежды, чтобы помогли. Если и есть хороший хирург, так условий нет необходимых. В Москве тоже нелегко найти, кого надо. Ну иди, иди! Выздоровливай. Будь счастлив, милый!

Она легко вытолкнула меня на улицу, нежно обняла, прижалась и крепко поцеловала в губы.

— Милый, прощай, извини меня! — Всклипнула и исчезла в палатке.

Больше на собственные чувства времени не было. Раненые ждали.

Я сделал несколько шагов. Ко мне подошла санитарка. Она ждала.

Почему я не спросил, как звали эту милую женщину, вернее, девушку, которая только что с таким желанием, мужеством и нежностью помогала мне? Почему не узнал ее адрес и где ее снова найти?

Видимо, по своей неопытности, застенчивости, неумения обращаться с женщинами, из-за условий и состояния, в котором находился.

Так жаль! Я больше никогда ее не видел. А почему она оказала мне столько внимания? Почему была со мной так нежна? Почему поцеловала? Это не было ее обычным отношением к раненому. В этом я уверен.

Как жаль, что больше никогда ее не встретил!

Санитарка помогла мне дойти до рубленой пятистенной избы.

— Здесь у нас раненые, которые уже обработанные, живут. До эвакуации. Ждут, пока их дальше в тыл повезут.

— А сколько времени они здесь живут? — задал я вопрос, наиболее меня интересовавший.

— Да кто как, какие дня четыре, а какие неделю, а какие прямо тут, только в другом доме, в команду выздоравливающих переводятся — нам помогают, по хозяйству работают, а потом их выписывают обратно на фронт.

Эх, а разве там, где был этот госпиталь, не фронт? — думается теперь. Да и тогда в тылу так думали, а вот для людей, находившихся в 20 км от переднего края и не раз при резких колебаниях фронта, при прорывах противника оказывавшихся в самом пекле, это был не фронт?

Моя невольная собеседница оказалась весьма словоохотливой. Она быстро выпалила все, что знала, на мой вопрос, но потом сбавила темп и значительно тише закончила:

— Ну а которые уже на опушке леса, так тем вечная память.

«Э... э... — подумал я. — Видно, если тут самому не постараться, так можно не только без руки остаться, но еще и в «вечную память» попасть. Придется убираться отсюда «собственным попечением». (Есть такое понятие в военной службе.)

Мы взошли на крыльцо, на котором стояло несколько раненых. Они курили махорочные самокрутки и негромко разговаривали. Очевидно, делились впечатлениями о жизни, о службе, о собственной судьбе.

Прошли в дверь. В сенях, где толпилось много народу, меня записали в регистрационную книгу, задали несколько вопросов, но на мой вопрос «когда меня отправят в тыл?» ответили не обнадеживающе:

— Когда очередь дойдет! — И показали на большую, освещенную керосиновой лампой горницу, которая отделялась от

сеней дощатой перегородкой, не доходившей до потолка сантиметров на 40.

Там на полу вповалку лежали раненные. Между ними, едва находя место куда поставить ногу, ходила санитарка.

Кто-то спал, подложив шапку вместо подушки, подстелив под себя шинель и шинелью же накрывшись. Кто-то сидел озираясь по сторонам. Кто-то стонал, кто-то звал:

— Санитар, санитар!

Стоял теплый запах разных лекарств, крови и больного человеческого тела.

Войдя в комнату, первым делом я спросил:

— Когда можно поесть? Кормить когда будете?

— Завтра, — ответил мне монотонным голосом пожилой санитар, вошедший вслед за мной. — Ужин уже кончился. Завтрак с 8 до 9 утра.

— У вас ужин уже кончился, а у меня-то еще не начинался. Я есть хочу!

Санитар совершенно невозмутимо и безучастно продолжал:

— В каждом монастыре есть устав — со своим уставом в монастырь не ходят.

— А я есть хочу! — настаивая я.

— Вот и позавтракаете, — отвечал мне санитар.

В общем, этот пожилой санитар тут был ни при чем. Его дело было раздавать пищу, которую в положенное время он получал в полковой кухне, а накормить человека в неурочное время было весьма сложно. Кухня готовилась к очередной варке.

Конечно, можно было бы добиться куска хлеба с чем-нибудь, но у меня начинала сильно болеть рука и становилось не до еды.

Кое-как нашел место, где раненные лежали не так плотно.

Постелил на пол мой драный полушубок и кое-как лег, слегка раздвинув лежащих. Один из них просто потеснился, подвинулся в сторону, а другой громко застонал. Очевидно, я причинил ему боль или, пробудив от полузабытья, вернул к реальным ощущениям.

Однако, несмотря ни на что, надо было устраиваться.

Я положил шапку под голову и задремал, но скоро проснулся. Рука сильно болела, и лежать неподвижно было совершенно невыносимо. Когда я переворачивался — опять потревожил соседа. Он стал вскрикивать. Сначала тихо-тихо, а потом все

громче и громче. Пришлось остаться в довольно неудобной позе. Раненый тоже затих.

Боль в руке настолько усилилась, что не только о сне, но и о том, чтобы лежать спокойно, не могло быть и речи. Однако каждым своим движением я тревожил соседа, вызывая, очевидно, у него сильные боли. Он вскрикивал, Мне надо было как-то отвлечься от боли в руке, иначе мое положение становилось нестерпимым.

Я встал и стал переступать с ноги на ногу.

Чтобы стоять двумя валенками на полу, места было достаточно, а главное, я никому не мешал и не причинял страдания.

Когда я начал топтаться на месте — это вышло непроизвольно, — тупая тяжелая боль в правом бедре начала отвлекать от невыносимой острой боли в руке. Инстинктивно я стал топтаться энергичнее. Это усилило тупую, но вполне переносимую боль, и почувствовалось общее облегчение, как будто острота боли с одного места распределялась по всему телу.

Я топтался и топтался, переступая с ноги на ногу.

Санитарка, обеспокоенная или удивленная моим поведением, спросила, в чем дело, почему я встал ночью и не ложусь.

Я отвечал, что так мне удобнее, лучше, и она не стала переспрашивать и надоедать.

Бедняга мой сосед, из-за которого я встал, иногда стонал, вскрикивал, потом затихал. Вдруг он начинал глубоко дышать. Через несколько минут дыхание со свистом или с хрипом срывалось и становилось неравномерным, прерывистым, а потом снова успокаивалось и приходило в норму.

Я все время смотрел на него, чтобы как-нибудь не задеть ногой, не потревожить и не принести ему лишних страданий.

Вначале, когда я еще лежал, а он так болезненно реагировал на движения, я пытался заговорить, но его состояние было настолько тяжелым, что из этого ничего не вышло.

Я не знал, сколько было времени. Быстро или медленно оно проходило, но оно шло. Протекали часы, а я все топтался, поворачиваясь лицом то в одну то в другую сторону.

От всего этого нога и рука болели так, что этой болью было наполнено все тело, включая голову и, наверное, уши и нос и кончики всех пальцев.

Ощущение было такое, будто черепная крышка готова оторваться и подлететь вверх от давления, которое ощущалось в голове.

Боль была не только во мне, но заполняла для меня весь мир.

Я уже больше ничего не видел, не слышал и ни о чем другом не мог думать.

Как только я переставал топтаться, в ноге и в животе становилось легче, но боль в руке настолько обострялась, что становилось совершение невыносимо. Голова ходила из стороны в сторону, вся комната и лежащие на полу раненные колебались, и я боялся, чтобы не упасть.

Изо рта рвался крик-стон. Я его подавлял, зажимал зубы. Крик превращался в стон. Я его глотал и лишь дышал с хрипом, изредка бормоча ругательства, причем так тихо и невнятно, что, кроме меня самого, их, кажется, никто не мог разобрать. Со стороны слышался только хрип, но явно не простудного характера. Он скорее походил на клокочущий храп.

Под утро мой бедный сосед успокоился. Сначала я не придал этому значений.

Мое сознание слишком было наполнено собственной болью и переживаниями. Но потом это спокойствие стало меня беспокоить. Я пригляделся — казалось, он не шевелится. Потихоньку опустившись на колени, я откинул шинель, которая почему-то оказалась накинута на лицо раненого.

Глаза были закрыты, грудь не колыхалась. Лицо было безжизненным, губы оказались совсем холодными, а лоб лишь чуть теплым.

Сомнений не было. Я много раз видел, как умирали люди.

Крикнул санитар. Подошла санитарка. Я показал жестом. Она нагнулась, посмотреть и тихо с глубокой печалью сказала:

— Отмучился бедняга.

Потом привела фельдшера и еще одного санитар. Один взял покойного под коленки, другой — под руки, и его вынесли.

Это печальное, хотя вполне обыденное для войны явление отвлекло меня. Если до этого боль поглощала все мои мысли, и они, если так можно сказать, были целиком внутри моего тела, то теперь собственная боль на какое-то время осталось где-то сзади, на втором плане, а мысли были вокруг этого умершего от ран солдата.

Около меня стало больше свободного места, боль перестала быть такой невыносимой, она притупилась, но лечь я не мог. То ли не желал приобрести место за счет умершего солдата (эта моральная сторона, безусловно, имела место), то ли просто боялся, что, когда перестану топтаться и лягу, рука снова очень заболит.

Как бы там ни было, но я не ложился и протоптался до утра, пока не начали разносить завтрак.

Мне принесли большую старую фаянсовую тарелку с вышербленными серыми краями. В тарелку был налит желтоватый суп, похожий не бульон с пшеничной крупой, со следами мяса и жира. К супу был кусок черного хлеба. Предложенную ложку я не взял, а вынул из галинища валенка мой старый испытаний «литровый» алюминиевый черпачек, потом встал на колени, поправил, чтобы тарелку поставить на пол, и через минуту или две, даже не успев почувствовать вкус супа стал просить добавку.

Просьбу пришлось повторить несколько раз. В результате мне принесли еще немного желтого супа.

Госпиталь, очевидно, не был рассчитан на такое количество раненых.

На войне бывает нехватка не только в оружии и боеприпасов, но и в госпиталях и койках (а за койкоместом белье, врачи, медперсонал, продукты, медикаменты, транспорт). Случается так, что в артиллерии нет снарядов — нечем стрелять, а в госпиталях некуда принимать раненых — исчерпана коечная емкость. Аналогию можно продолжить. Редко может случиться, чтобы не было ни одного снаряда. Не нами придумано, а давно известно, что без снарядов артиллерия хуже обоза третьего разряда (это обоз с малоценным хозяйственным имуществом). Так вот, когда артиллерист говорит, что у него нет снарядов, это значит, что снаряды есть, но их очень мало, и потому расход снарядов резко сокращают и орудия сидят на голодном пайке, однако если припрет и очень надо — стреляют.

Когда не хватает койкомест в госпитале, т. е. нет свободных и нет возможности раненых направить в другой госпиталь или в другой госпитальный район, то приходится класть раненых теснее на нарах, или по двое на койку, или на пол. Порции приходится сокращать. Врачам, всему медицинскому и обслуживающему персоналу больше работать, меньше отдыхать и спать, меньше уделять времени каждому больному и оказывать лишь самую необходимо помощь. А хирурги иногда по двое суток не

отходили от операционных столов. Им давали взбадривавшие средства, если надо, поддерживали под руки, они работали, пока не падали. Госпиталь работал — принимал, обрабатывал, сохранил и эвакуировал раненых

Такое бывало, когда выдыхалось крупное наступление, тогда поток раненых был особенно велик.

Во время описываемых событий — в половине февраля 1942 года — как раз заканчивалось контрнаступление под Москвой. Потому было так тяжело.

Содержание госпитальных мест не дешево и не просто. Это требует больших средств. А в средствах во время войны, как известно, избытка не было. Их всегда недоставало. Средства надо было распределить рационально или, как принято говорить, необходим был оптимальный вариант распределения государственных затрат на оружие, боеприпасы, военную технику, на содержание медицинской службы и всех медицинских учреждений, Увеличить расходы на медицину — значит, сократить на вооружение и боеприпасы, а меньше оружия — больше потери, больше раненых.

Вот потому-то нельзя было обеспечить всех раненых и в любое время всем необходимым.

Медицинское обеспечение рассчитывалось не на пиковый, а на средний поток раненых.

Приходили санитары и фельдшер, одних раненых уносили, других приносили или приводили, кого-то вызывали, кто-то сам приходил.

С утренним обходом пришел врач. Каждого, кто мог говорить, он опрашивал о самочувствии. Об остальных докладывал фельдшер или медсестра.

В общем, жизнь госпиталя шла своим чередом.

Съев две порции, я почувствовал прилив сил и жажду деятельности, которую направил, естественно, на скорейшую «эвакуацию в глубь страны», как было тогда принято говорить. Я несколько раз спрашивал:

— Когда будут эвакуировать?

Но получал один и тот же ответ:

— Когда очередь подойдет!

Наплыв раненых был очень большим. Госпиталь переполнен. Транспортных средств не хватало. Потому надежды на бы-

струю плановую эвакуацию не было, надо было действовать «собственным попечением».

Прежде всего я присмотрелся к обстановке, прислушался к разговорам.

Поначалу никаких благоприятных симптомов не чувствовалось. Однако через полчаса или час стало кое-что вырисовываться. В том числе и то, что должны отправлять одну грузовую машину с тяжелоранеными.

### Такое упустить нельзя

Я кое-как натянул полушубок, выбрался из хаты на улицу. К дому подъезжала полуторка ГАЗ-АА.

Через несколько минут стали выносить раненых и осторожно укладывать их в застланный соломой кузов. Пока я крутился около машины, выяснил, что у водителя нет помощника, а ехать в такой рейс ему одному трудно. Мало ли что по дороге случиться может! Дорога не шоссейная, вся в рытвинах, за ночь замело, застрять можно.

Я тут же предложил свои услуги и помощь, объяснив, что езжу на машине неплохо, почти пять лет, имею любительские водительские права, что нужно, сделаю, если надо, подтолкну. В результате я оказался в кабине рядом с водителем. Пришлось поднатужиться, потерпеть и сделать вид, что влезая в машину легко и ловко.

Ох и дорого стоили мне эти «ловкость» и «легкость»!

Зубы сжал, чтобы не охнуть. Когда влезал, глаза сами зажмурились от боли и слезы выступили, но водитель ничего не заметил и, как мне показалось, был доволен, что получил помощника. Раненых уложили, пересчитали, проверили, записали в толстую тетрадь. Подняли и закрыли на засовы борта машины. Кто-то, очевидно старший на погрузке раненых, крикнул водителю:

— Пошел!

Водитель достал из под своего сидения заводную ручку, подошел к машине спереди, с характерным звуком вставил эту ручку в гнездо, как следует прокрутил. Мотор сначала только тяжело урчал, потом несколько раз фыркнул, но не завелся.

Водитель крикнул мне:

— Подсос вытяни!

Я кое-как левой рукой вытянул монетку подсоса, т.е. обогащения горючей смеси. Опять не завелась. Тогда водитель скомандовал:

— Опережение поставь пораньше немного, только совсем немножко!

Он, очевидно, боялся, чтобы я не поставил слишком раннее зажигание и чтобы при вспышке заводную ручку не отбросило бы назад. Это опасно. Может ему перебить руку.

Я опять-таки с трудом передвинул гашетку опережения зажигания, которая размещалась на рулевой колонке около кнопки сигнала.

Сейчас машины более совершенны, и регулировка опережения зажигания, т.е. установка зажигания, производится лишь изредка с помощью ключа и отвертки, а далее регулируется автоматически. А раньше регулировалась постоянно водителем.

Снова водитель заработал заводной ручкой. Сначала ничего, а потом двигатель — пых-пых-чих — и заработал.

— Молодец, помогаешь! — крикнул мне водитель и продолжал заниматься своим шоферским делом.

Мотор заурчал громче. Водитель сел в кабину, машина пару раз дернулась и поехала вперед, покачиваясь, переваливаясь и подпрыгивая.

У меня отлегло от сердца. Я все боялся, как бы при погрузке не спросили водителя, кто я такой, откуда взялся и на каком основании залез в кабину. Но санитары не обратили на меня внимания — то ли не заметили, то ли подумали, что я в этой машине приехал.

Дорога была тяжелая. Машина часто буксовала, но водитель довольно искусно преодолевал препятствия.

Проехали несколько километров. Попали в канаву. Машина взад-вперед, взад-вперед, еще несколько раз взад-вперед. Ничего не получается. Наша полуторка все глубже зарывается. Водитель — мне:

— Вылези, подтолкни!

Я, естественно, сделать этого не могу и во всем признался водителю. Он выругался, но, естественно, сделать уже ничего не мог, отправлять меня обратно было поздно. Тогда водитель еще

подергал машину. У него опять ничего не вышло — застрявшая машина из канавы не вылезала. Тогда он уже полупросительно сказал мне

— Ну ладно, ты хоть за баранку подержись, а я подтолкну.

Я в ответ:

— Не могу. У меня одна только левая нога рабочая и та болит, нажимать не могу.

Водитель снова начал ругаться. Матерился, матерился во все адреса: и в адрес дороги, и в адрес войны, и немцев, и в основном, конечно, в мой. Но видя, что никакие ругательства все равно не помогут вытащить машину, поглядел на меня укоризненно и сказал:

— Это же только преступники могут делать такое.

Пришлось ему разъяснять, что это не преступление, а желание снова и быстрее воевать, иначе его самого могут вместо меня в огонь послать.

Водитель остановился на минуту, задумался над тем, что я сказал, кажется, понял суть произошедшего и успокоился. Затем, что-то ворча про себя невнятное, по-моему опять ругательства, но уже не в мой адрес, он вылез из машины, взял пристегнутую к борту машины лопату, откопал колеса, прочистил колею, наломал соснового лапника, подстлал его под задние колеса, сунул лопату в кабину мне под ноги, влез в кабину, подергал вперед-назад машину, снова сильно тревожа этим раненых, и выехал. Поехали.

Еще три-четыре раза застревали. Все повторялось примерно так же — с бормотанием проклятий (но уже в мой адрес). Разница лишь в том, что подстилал он в колею под колеса не только сосновый лапник, а еловый или ветки березовые или осиновые, смотря какие деревья росли по дороге.

Через два или три часа подъехали к большому рубленому одноэтажному дому, какие бывают обычно на небольших железнодорожных станциях или разъездах.

Разгрузились.

Я поблагодарил водителя. Попросил извинения, а он, приняв мое бывшее разъяснение, совершенно серьезно, хотя и не без матерка, ответил:

— Какого ты... еще винишься тут, а то и впрямь меня с винтовкой в атаку погонят, а мне то уж пятьдесят второй. Так

что будь здоровый. Дай тебе бог. А я не взыщу! — И, сделав паузу, несколько приглушив голос, добавил: — Да: вот еще что... На меня обиду тоже не имей. Это ведь все так, от души. Война ведь.

На том и разошлись.

Перед домом, к которому мы подъехали, было большое низкое крыльцо, всего одна ступенька от земли. Пол у крыльца был сделан из толстых широких досок, уже сильно потертых, с большими щелями. Односкатная пологая крыша крыльца лежала на шести толстых тесаных столбах-опорах. Внутри крыльца по краям — широкие лавки. А в дом вела большая, обитая дражной клеенкой дверь.

Сразу за дверью большое помещение — прихожая. Теперь это принято называть холл. Хотя в холле принято ощущать какую-то хоть малую парадность, которой не было и в помине, там поместилось то ли все приемное отделение, то ли одна регистратура. Раненых быстро осматривали, записывали, определяли по комнатам — госпитальным палатам.

В середине задней стенки приемной комнаты была широкая дверь, она вела в коридор, который шел справа налево вдоль всего дома посередине. По обе стороны коридора были комнаты, в каждую из них вела отдельная дверь. Такое строение принято называть домом коридорной системы.

Меня повели по коридору налево. По правой стороне была большая длинная комната с двумя неширокими двустворчатыми окнами. Вдоль стен были сооружены трехэтажные деревянные неструганые нары, застланные соломой. Первые два яруса были уже полностью заняты. Мне определили место на третьем ярусе, куда надо было забираться по приставной деревянной лестнице. Забраться туда я не сумел, да и особенно не пытался.

За дорогу я здорово устал, меня растрясло, все болело. Надо было бы отлежаться, но я спешил сначала узнать, когда будут отправлять дальше.

Вышел в коридор. Стал расспрашивать. Зашел снова в приемную.

Все, что сумел узнать, это что эвакуируют через несколько дней, если повезет, а вернее, через неделю.

Узнал о транспорте: отвозят в сторону Москвы на автобусах.

Выходило, что рассчитывать на плановую эвакуацию нельзя. За это время руки не будет. Надо опять как-нибудь проскочить в первый же очередной транспорт.

Вернулся в свою палату. На третьи нары не полез. Даже пытаться не стал. Спасибо, помогли залезть на второй этаж нар. Там один раненый со мной обменялся и полез наверх на мое место. Лег. Полушубок под себя, шапку под голову. Вздремнул. Отдохнул немного.

Проснулся от шума. Громко разговаривали об эвакуации раненых. Сразу прислушался, насторожился. Точно. Готовится транспорт.

На нарах, что напротив моих, на первом ярусе сидел, свесив ноги, сильно забинтованный, по следам обмундирования летчик. Он был сильно взволнован. Его настойчиво уговаривал фельдшер:

— Вы подлежите эвакуации. Почему вы не хотите ехать?

— Да не могу я ехать! — отвечал раненый.

Фельдшер продолжал:

— Вы в списках на очередной транспорт и обязаны эвакуироваться. Надо подчиняться.

— Сказал же вам: не поеду! — послышалось в ответ раздраженно. — Как я могу его оставить? — показал летчик на лежащего рядом с ним раненого, укрытого одеялом, которой был, очевидно, в очень тяжелом состоянии. — Это мой командир-летчик. Я штурманом с ним летал. Я без него не поеду, а он нетранспортабельный (т.е. не подлежащий перевозке до определенного улучшения состояния).

Фельдшер, очевидно, не мог понять связи между тяжелым состоянием и невозможностью эвакуации одного и нежеланием уезжать другого. Он продолжал настаивать;

— А вы при чем? Вас отправляют. Собирайтесь!

Даже со стороны чувствовалось, что между этими людьми глухая стена взаимного непонимания совершенно различный подход к вопросу, который сейчас занимал их обоих: один не мог оставить беспомощного друга, а другой не мог понять, что же общего может быть между двумя ранеными, которым предписаны совершенно разные режимы, несовместимые по месту.

— Не поеду я без командира. Сказал вам, вот и все! — стоял на своем раненый.

— Да тут нет никаких командиров,— настаивал фельдшер. — Тут экипажами не отправляют, ни танковыми, ни самолетными. Тут нет среди вас ни начальников, ни подчиненных, тут все равны по чину, только по ранениям разделяются. Раненых здесь сортируют и индивидуально отправляют.

Даже такая, с точки зрения фельдшера, вполне доказательная тирада не внесла никакого сближения в позиции сторон.

— Сказал вам по-русски: не поеду без командира! Не оставлю я его. Вот и все! Нас зенитка подбила. Самолет горел. А у меня спереди парашютную сумку порвало, с парашютом вместе. Он из-за меня не прыгал, стал самолет сажать. И вот едва жив остался, меня спасая. Он меня не бросил. А теперь я его не брошу?

— Да вы-то ему зачем? — доказывал фельдшер. — Сам-то вы какой побитый! Вас еще оперировать, наверное, нужно.

— Не надо...



В подготовке настоящих воспоминаний оказал помощь **Крамарь Юрий Тимофеевич**.